

ВРЕМЯ ИДМБ 64 1982

В ЭТОМ ЖУРНАЛЕ ЧИТАЙТЕ ФАНТАСМАГОРИЧЕСКУЮ ПЬЕСУ ЛИЦЕЛЕВА "ЧЕТЫРЕ КРУЖКИ МЮНХЕНСКОГО ПИВА" О ВСТРЕЧЕ ЛЕНИНА И ГИТЛЕРА В 1914 ГОДУ



ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Восьмой год издания

Выходит один раз в два месяца

64
1982

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

НЬЮ-ЙОРК - ИЕРУСАЛИМ - ПАРИЖ
ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" - 1982

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	КАРЛ ПРОФФЕР
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	АЛЕКСАНДР ПЯТИГОРСКИЙ
МИХАИЛ КАЛИК	ИЛЬЯ СУСЛОВ
АСЯ КУНИК	ДОРА ШТУРМАН (зам.гл.редактора)
ЛЕВ ЛАРСКИЙ	ЕФИМ ЭТКИНД
ЛЕВ НАВРОЗОВ	

Израильское отделение журнала "Время и мы"

Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отдаления: Jerusalem, Taiplot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"

Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800 PUTEAUX
FRANCE

Представители журнала:

Англия Александр Штромас
Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastnck,
Brighouse W. Yorkshire HQ6 3PZ ENGLAND

Канада Юрий Лурьи
305 Robson Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3T 2N2
t. (204) 474 9773

Западный Juscwa Mischijew
Берлин Hussiten Str. 60, 1000 Berlin 65

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Игорь ЕФИМОВ
Архивы страшного суда 5
С.Ш.
Ночной трамвай 103

ПОЭЗИЯ

Эдуард ШНЕЙДЕРМАН
Погром. 115
Юрий ИОФЕ
Квинтэссенция. 121

ПУБЛИЦИСТИКА. КРИТИКА. СОЦИОЛОГИЯ

Савва ЖУКОБОРСКИЙ
Нужна ли нам вообще демократия? 125
Виктор ПЕРЕЛЬМАН
Пир победителей. 140
МАРРАН
Деформация души 147
Д. БАРТОН ДЖОНСОН
Между собакой и волком. 165

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Раиса БЕРГ
Палачи и рыцари советской науки. 176

САТИРА И ЮМОР

Леонид ИЦЕЛЕВ
Четыре кружки мюнхенского пива 220

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

За кулисами Мерано. 244

Коротко об авторах 252



Игорь ЕФИМОВ

АРХИВЫ СТРАШНОГО СУДА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ФОНД

12 ОКТЯБРЯ, ВТОРОЙ ГОД ДО ОЗАРЕНИЯ, ТАЛЛИН

1

Свет фар, вползая с мостовой на стену дома, отливался там в крупную поваленную набок восьмерку. Восьмерка делалась все ярче, потом поползла влево, растягиваясь, ломаясь на окнах, на водосточных трубах, на жестяной осенней листе палисадника, скользнула по досчатому ограждению, по вывеске СМУ—18. Машина осторожно протиснулась мимо деревянного вагончика, брошенного строителями чуть не посреди улицы, проехала вперед, свернула еще раз, встала.

В наступившей тишине главным звуком стало дребезжание разгонявшейся где-то вдали электрички.

Водитель вылез из машины, с вызывающим видом оглядел молчащие окна. Казалось, лицо его в процессе лепки было ухвачено кем-то за щеточку усов, вытунято вперед, а потом неровно заострено при помощи двух пощечин разной силы. В довершение жестокая рука лепящего прихлопнула

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

его еще и сверху, так что рост... рост... Макушка шляпы едва торчала над автомобильной крышей.

Сохраняя застывшее выражение (да-я-таков-именно-таково-но-вы-все-дорого-мне-за-это-заплатите), человек прошел под редкими фонарями назад, процокал каблуками по ступеням, ведущим в деревянный вагончик, толкнул дверь.

— А сержант у нас опять на посту дрыхнет, так?

Сержант вытянул вверх руки и стал падать назад вместе со стулом. В последний момент зецепился носками ботинок за перекладину стола, выгнулся, потянулся, клацнул зубами в сладком зевке.

— Не могу верить, как это есть одиннадцать часов. Ты не спеши так, Валентин, не спеши работать. Отдыхай, Ты есть нервный очень, не умеющий отдыхать.

Русские слова у него были, как солдаты, надевшие иностранную форму, — очень похожи, но выстраивались упрямо по-своему, по-эстонски.

На маленьком пульте в углу копошились и вспархивали стрелки радиоприборов. Валентин сбросил плащ, сдвинул на затылок шляпу и прижался глазом к окуляру перископа, уходившего вверх, через крышу вагончика уже в виде обычной дымовой трубы. Сразу близко-близко придвинулось окно, треугольник света в раздвинутых шторах, и в этом треугольнике — лампа, стол, мальчик, кусающий губы над книгой.

— Ты лучше сквозь ночной гляделкой смотри, — сказал сержант. — Там интересно. Интересный гость к нам приходил сейчас сюда. Или помощник.

Валентин перешел к другому окуляру, встроенному в се-ребристый, тихо гудящий аппарат. Мир сов и летучих мышей, перенесенный инфракрасными лучами на маленький серо-белый экран, болезненно мерцал, плющился, утекал. И в то же время контуры деревьев в палисаднике, детская песочница, качели и фигура человека, прислонившегося к стволу, выглядели более реальными, чем при обычном свете. Они были словно очищены от шелухи мелочей до своей первозданной сути. Дерево. Песок. Человек. Особенно неподдельной была поза человека: та усталая расслабленность, которая приходит лишь при уверенности, что сейчас никто не видит тебя.

— Когда еще было светло, он приходил. Сначала немного

гулял, а теперь только стоит. Так, да.

— Майору докладывал?

— Майор говорил не отвлекаться. Наблюдение продолжать, а отвлекаться — нет. Ее саму обнаружить и больше никогда не терять из поля вашего вида. Так вашего, не так вашего — очень плохие слова дальше. Очень еще сердит. Каким путем ты мог ее потерять, Валентин?

— Не трогай, сержант. Не трогай больное, — начал Валентин сдавленно, спокойно. Но не выдержал — сорвался на шипящий крик-шепот.

— Понастроили, да? Гостиниц понастроили, своих пускаете, а русских — нет? А так бы хрен она от меня... Шел за ней впри-тирку, как приклеенный. Она в кафешку — я к витрине. Она в уборную — я в телефон-автомат рядом. Она в магазин, а я уже тут как тут в кассе плавленный сырок выбиваю. Она в такси — я в машину скорой помощи. А уж как подкатила она к этой "Выру" небоскребной, да к швейцару, да по-эстонски: "ла-та-па, ла-па-та" — и внутрь. А меня он стоп: "Карта, пожалуйста, карта гостя, пожалуйста, вечер, посторонний нельзя". "Да какая карта? Какой я тебе гость? Хозяин я тут, а не гость, усек? Хозяин". Но документ-то показать нельзя. Ох, думаю, — Валентин выругался, — достану сейчас документ — ты же у меня сапоги будешь лизать. Но нет — приказ. А выходов-то в этой "Выру" — двадцать, да на все стороны. Так и ушла. Но ничего, далеко не уйдет. От детей не убежит, домой вернется. Когда брать придем, никакие ла-па-та, ла-та-па не помогут.

— От Николаича она тоже однажды ушел. И Николаич совсем трезвый был. Потом говорил, что она совсем исчезла, уплыла на воздух. Как колдовство.

— Ведьма она, вот кто. У нас в деревнях таких раньше в проруби топили, понял? Она барахтается, вопит, а ты багром ее, багром, багром! — и под лед. И все тихо, спокойно.

— Ты очень, Валентин, ненавистный. Так работа делать нельзя. Они чувствуют, как ты их сзади ненавидишь, и всегда хотят убежать.

— Ты больно их любишь.

— Да, почти так. Я их всегда наблюдаю. Как маленьких детей. Как няня. Я чувствую внутри заботу для них. И они это чувствуют. Не боятся меня, нет. Иногда начинают разговор. Спрашивают, сколько я получаю, какая семья. Один эстонец

предлагал устроить другая работа, больше денег. Я сказал, не надо. Я уже на правильном месте. На своем. Так, хорошо.

— Это не тот ли эстонец, который потом на три года загремел за агитацию?

Сержант вздохнул и пожал плечами.

— То делал не я, нет. Детей надо когда-нибудь наказывать, верно. Но то делал не я. Следовательно, прокурор, судья, конвой. А ее еще неизвестно, что будут брать. Никто не приказал. Когда будет делать что-то плохое, тогда — да. Но она только хорошая. Надо наблюдать, чтобы плохого не делал, так.

— Уж это конечно. Вас, эстонцев, послушать, так вы все — ангелы безгрешные.

— В ней только половина эстонки. Мать русская, мужья были русские, и говорит она по-русски лучше, чем тебя.

— Половина, говоришь, — вдруг развеселился Валентин, — Это которая же — верхняя, нижняя? А? Ну, скажи? И тогда уговоримся: если она нам достанется в темном углу, эстонская половина — тебе, русская — мне. Годится? Ну? Так какая?

Усмехаясь и покачивая головой, сержант взял руку приплясывавшего перед ним человечка, вынул из нее автомобильные ключи, пошел к дверям.

— Верхняя? Нижняя? Русская? Эстонская?

Валентин пришел в такой раж, что сорвал шляпу, бросил ее на пол и наступил ногой.

Сержант натянул поверх свитера промасленный ватник, повесил через плечо связку водопроводных кранов.

— Гаси-ка для минуты свет, пока я буду выходить.

Он ушел. Валентин еще некоторое время покружил в темноте по вагончику, бормоча на все лады свою шутку и восхищенно всхлипывая, но в то же время привычно проверяя все мелочи. Занавески на окнах? Задернуты. Приемник-передатчик? Включен на нужную волну. Время сдачи дежурства в журнале? Отмечено.

Призрачный силуэт человека в палисаднике переместился по экрану, устало опустился на край песочницы, подпер голову руками.

Мальчик у освещенного стола как-то странно вытянулся, закинув лицо к потолку. В окуляре перископа маячило его беззащитно-белое горло.

Безлюдная улица по-прежнему тихо обтекала вагончик сна-

ружи, несла и уносила звоночки дальних трамваев, глухой шум портовых лебедок, хлопки выпускаемого пара.

2

Мальчик медленно открыл глаза, подтянулся в кресле, сел прямо. Отголоски последней сладкой судороги словно бы стекались обратно к чреслам, превращались в слабо ноющую боль. Голова кружилась. Он осторожно высвободил руку с намоченным платком, застегнулся, побрел в ванную. Отстирывая платок под теплой струей, всматривался почти с ненавистью в свое раскрасневшееся круглое лицо и вел тот бесконечный диалог с самим собой, который оплетал все его мысли последние два года.

"Ну что, опять? — Этого больше не будет. — Да уж три раза, на сегодня хватит. — Второй можно не считать, я почти спал. — Сон тебе не помеха. — Этого не будет ни завтра, ни послезавтра. — Слыхали, слыхали. — В конце концов, все это делают. — Все да не все. — Если не делать, можно сойти с ума. — А если делать? — Я найду себе девчонку, и мы будем с ней это делать нормально. — Кого ж это? Говорову из восьмого-Б? Она, конечно, глазами тебя ест. Но ведь и пахнет при этом — не подойти. — Я найду. И может, даже женюсь. — В свои шестнадцать неполных? — Говорят, по специальному разрешению можно. — Специальное разрешение? Потому что рука слишком устала? — Я буду ждать, если надо, и два года. — Толик Моргенсон вот не дождался".

Это был уже удар ниже пояса. Он скомкал платок и с яростью швырнул его в зеркало. Вспоминать о Толике было все еще очень страшно. Так страшно, что можно было пойти на все. Даже на то, чтобы сделать это еще раз. Лишь бы заглушить страх, отвлечься.

В коридоре зазвонил телефон. Он на цыпочках выбежал из ванной, взял трубку.

— Ильюша? Ну что?

— Пап, но ведь я уже сказал тебе. Она только в понедельник будет в больнице. У нее дежурство.

— А до этого? Ведь она может вернуться и раньше?

— Но она не вернулась.

— Все же я не могу понять: что это за поездки, когда ты даже не знаешь, где ее искать. А если что-нибудь случится? С тобой, с Олей, с бабушкой? Куда ты будешь звонить?

— В морг, в стол находок, в ООН.

— Эта шутка не для телефона, Ильюша. Пойми, я не стал бы звонить третий раз по междугороднему, если б речь шла о пустяках. Но дело серьезное. Меня тут расспрашивали о ней — понимаешь?

— Да? О чем?

— Это не телефонный разговор.

— Я скажу ей, что ты звонил.

— Ты можешь сделать мне одну маленькую услугу?

— Угу.

— Пойди в свою комнату, выгляни из окна на улицу и потом расскажи мне, что ты увидишь. Или кого. Я подожду.

Ильюша прикрыл глаза, стукнул трубкой о тумбочку и, выждав некоторое время, сказал:

— Ничего там нет, И никого. Все, как обычно. Не психуй ты понапрасну.

— Да я и сам себе это говорю. А все равно заснуть не могу. Ты в Ленинград к нам не собираешься? Может быть, на ноябрьские?

— Не знаю еще.

— Или в Новый год? Я уговорю Генриэту, и мы освободим тебе отдельную комнату на это время. Как в прошлый раз.

— В прошлый раз, кажется, была Лиза.

— Теперь это Генриэта.

— Ладно, может быть. Я постараюсь. Спасибо.

— Как ты вообще-то? Как настроение?

— Все нормально. Гнием помаленьку.

— Ну смотри.

Илья положил трубку, повернулся, чтобы идти к себе. Бабка Наталья стояла как бы в полуобмороке, прислонясь к стене коридора, сжимая у горла халат, другую руку протягивая к нему (хлеба! хлеба!).

— Отдай мне мой сон, Илья. Я не проживу завтрашний день, оставшись опять без сна. Я уже спала, снотворное подействовало, и тут ты, своим криком...

— Я не кричал.

— Если б ты знал, если б только знал, какая это мука — пытаться уловить ускользающий сон, какая боль начинает сверлить виски...

— Отец позвонил из Ленинграда. Что ж мне было — шептать что ли?

— Ты и сейчас кричишь, кричишь так, что разбудишь Олю, а ей в ее возрасте, когда все такое неокрепшее... ну почему, за что ты так безжалостен, что мы тебе сделали...

Илья замычал, нагнул голову и ринулся мимо бабки в свою комнату. Там рухнул в кресло, посидел с закрытыми глазами, машинально взял книгу.

"...страшная сила телесного желания, не переходящая в желание душевное, в блаженство, в восторг, в истому всего существа. Она откинулась и легла навзничь. Он лег рядом, привалился к ней, протянул руку..."

Но нет — видимо, на сегодня внутри все выгорело. Слова проскальзывали, не задевая. Он стал думать, отчего после этого всегда такая тоска. Словно ослепляющая волна, эта самая "страшная сила телесного желания", накатывавшая из глубины его существа, поднимала его, разгоняла до точки, с которой можно было бы уже полететь по воздуху, но он каждый раз срывался, терял равновесие, летел, захлебываясь и волна обрушивалась, пронеслась сквозь него коротким восторгом, а затем волокла, колотя и швыряя, и выбрасывала измочаленного на вязкий песок.

Нет, он уже знал, что это случается со всеми (ну, почти со всеми), что бабка Наталья врала, и ничего у него от этого не отсохнет и не отвалится, но легче все равно не становилось. Потому что если со всеми, если каждый человек под внешней невозмутимой маской жил на самом деле так же, как он, — от волны до волны, — то вся жизнь оборачивалась таким невыносимым балаганом, такой ненужной скучищей и лицемерием, что просто не было смысла и дальше принимать в нем, в балагане, участие. Застилающая взгляд волна могла всплеснуть в нем от вида прозрачных комбинаций, развешанных в витрине на пластмассовых бюстах, от новой юбки учительницы географии, от скульптуры в саду, от свежести выстиранных простыней, от воркотни голубей на подоконнике, от громко произнесенного слова "грудь", — наверно, он был в свои шестнадцать лет уже безнадежно свихнувшимся маньяком. Если же нет, если это происходило с каждым и просто было так уговорено, что гораздо важнее были витрины, сады, флаги, речи, пушки, машины, подоконники, география, — то неладно было с остальными. Кто-то из них двоих — либо он, либо окружающий мир — непременно выходил уродом и извращенцем. И оба возможных здесь ва-

рианта нагоняли неодолимую тоску.

Может быть, одна только мама выпадала из этой тупиковой дилеммы, из общей круговерти лицемерия. И не потому только, что она говорила иногда вещи, от которых бабка Наталья вскакивала и убегала в свою комнату. И не потому, что, застукав его год назад, она не раскричалась, не скривилась, не заахала, а жала ему запылавшие щеки ладонями и сказала, чтобы он не боялся. Чтоб сдерживал себя по возможности, но если уж не сможет, то чтобы ни в коем случае не боялся и выродком себя не считал. И не потому, и не потому, и не потому...

Нет, все же это было огромным облегчением: узнать — и от кого? от мамы, от доктора! — что можно не бояться. Отчего полез в трансформаторную будку Толик Моргенсон? "Причины неизвестны", — говорили им потом, но он-то, Илья, был уверен, что от этого самого: от сметающей волны и от безысходного притворства кругом. Недаром же все игравшие тогда в волейбол, кто заметил, как он входил в оставленную незапертой дверь, повторяли, что он погрозил кому-то кулаком. И записку оставил в кармане с одним только ругательством: "А пошли вы все..." Ему сильно обожгло руки током, поэтому и нашли его довольно скоро. По горелому запаху. Уж по физике-то он всегда был круглый отличник, и в электричестве разбирался — знал, за какие провода хвататься.

Снова зазвонил телефон.

— Таллин, ответьте Москве.

Косясь на бабкину спальню, Илья перенес аппарат, сколько достало шнура, поставил его на пол коридора и с трубкой в руке заполз в свою комнату. Чтобы закрыть дверь, пришлось лечь на пол и почти прижаться лицом к косяку.

— Лейда, ты?

Нет. Мамы нет дома. А кто говорит?

— Ты, наверно, Илья? Ты меня не знаешь. Я Павлик. Из геологоразведки. Мы с Лейдой Игнатьевной у вас там на скачках познакомились. Так и передай: звонил Павлик, который был весной на скачках.

— Вы уверены, что она только с вами там познакомилась?

— Ух ты, язва какая. Ну ладно, скажи — это тот, который ей посоветовал на Вихря поставить. На Вихря, что от Варвара

и Амазонки. Она еще десятку тогда выиграла.

— Говорят, на ипподроме только жулики знают, на каких лошадей ставить.

— Так его, меня, круши, не жалея. А маме скажи, что я вернулся и скоро буду в ваших краях. И скажи, что я привез то, что она просила. Из экспедиции.

— Она не любит, когда ей такое по телефону передают.

— Да я же не говорю — чего. То ли песка, то ли самородок, то ли аметист, то ли еще что. Мало ли всякого геологи с поля привозят.

— Ладно, я передам.

Он выполз с умолкшей трубкой в коридор, поставил телефон на место.

Потом вернулся в комнату, начал стелить кровать. Никак не удавалось отыскать углы простыней, они упрямо прятались в глубине комка. То ли устал, то ли тайная надежда дожидаться маму сковывала пальцы, замедляла каждое движение. Выключил свет, постоял напоследок у окна. Темнота в палисаднике разделяла островки кустов, как поднявшийся прилив. Целлулоидными крошками поблескивал толь на крыше строительного вагончика, и железная дымовая труба все так же отбрасывала свою короткую, бездымную тень.

13 ОКТЯБРЯ, ВТОРОЙ ГОД ДО ОЗАРЕНИЯ, ПСКОВЩИНА

Из отчета, представленного начальнику следственного отдела Псковской прокуратуры следователем Фильченко Т.З.

"...Крестьянка Тихомирова И.Б., 62-х лет, беспартийная, проживающая в деревне Волохонка, будучи опрошена мной, показала, что означенная неизвестная женщина (приметы: пальто демисезонное, темное, высокая, лет 35, сумка на молнии коричневая) действительно явилась к ней в воскресенье 13 октября пополудни, назвалась Лидией Игнатьевной, якобы из Ленинграда, с приветом к ней от бывшей соседки Серафимовой К.Г., которая давно уехала из колхоза якобы в дом-

работницы в город, без разрешения и без паспорта, отчего местожительства своего никогда не сообщала, но слала гостинцы для поддержания дружбы и наблюдения за оставленным домом, который стоял заколочен и куда подозреваемая Лидия (якобы) Игнатъевна просила ключа, чтобы зайти за старой иконой, спрятанной на чердаке, за каковой чудодейственной (якобы) иконой Серафимова К.Б. просила ее съездить, находясь в слабом здоровье и почти при смерти, и, выпив чаю с сухарями и получив ключ, сразу отправилась в соседний заколоченный дом...”

1

Ключ в ржавом замке повернулся неожиданно легко. Дверь тоже открылась без скрипа, и из сеней пахло не плесенью и запустением, а запахом свежей клеенки, краски, керосина. Она подумала, что верткая Борисовна, видимо, не одной ей одалживала ключ от дома соседки — наверно, и постояльцев пускала, не спрашивая разрешения хозяйки. Упитанная мышь нехотя выбралась из комода и, оставляя белый мучной след, по-хозяйски прошелестела за опрокинутое ведро в углу.

На чердак вела лестница с перильцами, но женщина не стала подниматься по ней, толкнула дверь в горницу. Свет, сжатый снаружи досками ставень, разрезал пространство от окна до пола дымящимися полосами. Она огляделась, задвинула щеколду на дверях, подошла к столу, поставила на него сумку. Фанерная переборка была оклеена новыми газетами, и только в одном месте, пожалуй, не без умысла, были оставлены старые, разной степени пожелтлости, выглядывавшие друг из-под друга, так что все вожди на портретах, правившие страной последние пятьдесят лет, забыв свои распри, заговоры, разоблачения, убийства, оказались рядом и дружно слали зрителю свои неумелые деревянные улыбки.

Она открыла сумку. Вынула большую конфетную коробку, извлекла оттуда портативный магнитофон. Опробовала его.

— Тринадцатое октября, воскресенье, деревня Волохонка, проверка.

Нарочито обесцвеченные лабораторные слова звучали странно, отражаясь от грубых бревенчатых стен. Затем из сумки появилась спиртовка, за ней спички, стерилизатор, коробка с хирургическими инструментами, несколько бутылочек. Пальцы ее уверенно находили в полумраке нужные вещи. Синее пламя спиртовки прыгнуло вверх с едва слышным хлопком, но, придавленное сверху дном стерилизатора, распласталось, пожелтело. Вслед за ланцетом в закипающую воду нырнул инструмент, похожий на большой нержавеющий гвоздь.

Вода кипела. Она расстегнула пальто, высоко подняла передний край юбки, села на лавку. Всмотрелась в кожу бедра, белевшую над краем чулка. Слева от подвязки поблескивал едва заметный шрам. Она потрясла бутылочку со спиртом, стала протирать справа. Потом взялась за йод, но передумала, отставила в сторону. На протертом участке узор жилок в глубине проступал особенно ясно.

Она взглянула на часы, подождала еще немного и выключила спиртовку. Вскрыла гигиенический пакет, достала оттуда плотную марлевую прокладку. Едва дождавшись, когда остынет, извлекла блестящий гвоздь, обернула тупой конец прокладкой. Острый обмакнула в спирт, подержала там. Потом прижала к коже и, сморщившись и закусив губу, с напряжением наклоняясь вперед, будто ей нужно было удерживать на месте протестующее и вырывающееся тело, провела длинную рваную черту.

Кровь проступила сперва в нескольких точках и вдруг наполнила белую бороздку сплошной вспухшей чертой. Стараясь не размазать ее, она начала поспешно собирать в сумку все разложенное на столе. Дымящуюся воду из стерилизатора вылила прямо в щель в полу. Ланцет уже поостыл — его можно было взять рукой. Передвинувшись так, чтобы свет из оконной щели упал прямо на ранку, она всмотрелась, разглядела то место, где кровеносный сосуд нырнул под царяпину, как ручей под мост, и, негромко охнув, вдавила лезвие в точку пересечения.

Кровь ударила фонтанчиком.

2

— Ох, лихо мое, ох Игнатъевна — да как же ты так? чем же? Ох, батюшки-светы, а у меня и бинта нет чистого... Да ты са-

дись пока и ногу подними, повыше держи... Ох ты, крови-то сколько!

— Вот так оно, так всегда со мной, Борисовна. Неудачливая я — хуже нет. И в прошлом году руку вывихнула, и в прошлый год ребро на лыжах сломала. А бюллетеня мне ни в те разы не дали, ни сейчас не дадут. Потому — воскресенье.

— Погоди ты, погоди, где-то была у меня тряпица чистая... сейчас... не в сундук ли я ее сунула...

— А иконы никакой не нашла. Ни где Григорьевна сказала искать, ни в других местах... Видно, побывал там кто-то уже...

— Да кому же?.. Господь с тобой, запертый дом стоит всегда, в аккурате... Племянницу с мужем однажды пускала пожить, а больше никого...

— Вот гляди: как прижму пальцем, так слабее идет, а как отпущу — сразу хлещет. И юбку уже залило, и пальто... Видно, жилу порвало... И гвоздь такой ржавый был — страсть...

— Если к фершалу бежать, так это шесть километров, и лошадей уже в деревне ни у кого не осталось. А в аптеку — так и того дальше.

— Может, жгут какой наложить?

— Высоко больно. Нога там толстая, не пережать...

— А вот Григорьевна как-то говорила, что ты при случае травмами лечишь. И что заговоры старые знаешь.

Старуха разогнулась от вороха тряпок, вытащенных из сундука, обернула к ней пропеченое солнцем лицо.

— Зачем же она на меня напраслину... Теперь за такое...

— Нет, я же ничего. Просто говорила, что раньше ты настойки всякие делала и кровь умела заговаривать.

— То давно было.

— Я, может, Григорьевне скажу, что не пропала икона, а что в пожаре сгорела...

— Теперь травмам веры нет... Все ренгены да антибиотики ети...

— ...все лучше. Недаром же говорят, что если в огне, значит, Бог взял, а не чужие люди...

— А что ети антибиотики? Тоже ведь трава, только заплесневелая.

— Ох, голова что-то кружится...

— Так ты говоришь, ты в заговоры веришь?

— Как же не верить? Я все детство с бабкой в деревне

жила. Вот мастерица была заговаривать. За двадцать верст к ней приезжали. И от язвы знала, и от лишая, и от грыжи, и плод могла вытравить, и сердце приворожить.

— Вспомнить что ли старое...

— Поспеси, Борисовна, вспомни. А то видишь — пропадаю.

— Но ты уж меня не выдавай потом, Игнатьевна.

— Да Господь с тобой — кому же я выдам?

— Ладно... Ты устрой пока ногу, а я помолюсь, чтобы Господь силу дал. Может, и снизойдет Милостивец, ниспошлет мне грешной...

Старуха протерла низко висевшую икону полотенцем, потом попятилась назад, встала на колени. Не отрывая взгляда от ее склоненной спины, женщина вытянула на лавке пораненную ногу, подсунула под нее сумку, осторожно открыла молнию, засунула внутрь руку. Щелчок включенного магнитофона показался ей неожиданно громким.

Но нет — старуха не услышала. Осторожно, словно боясь растерять молитвенную сосредоточенность, размеренно крестясь, она перешла, так же пятясь, к лавке, снова опустилась на колени. Слова молитвы начали перемежаться то ли с причитаниями, то ли с всхлипываниями, потом стали распадаться на отдельные слоги, утрачивать связь, сплетаться в негромкий напев, в котором было что-то и от колыбельной, и от частушки, и от марша, с настойчивым, но неуловимо меняющимся ритмом. Морщинистые с неровно обломанными, потемневшими ногтями пальцы нависали над раной, то приближаясь, то удаляясь, то касаясь кожи по сторонам.

Настойчивый ритм все ускорялся, выпеваемые звуки делались все выше по тону.

И вот края блестящей кровяной лужи начали тускнеть, подергиваться корочкой, корочка медленно стягивалась в сплошную пленку. Прибывающая из центра кровь напухла мениском, но тоже быстро густела, сжималась, темнела, пока наконец не застыла черным неровным бугром.

Старуха с напряжением перевела дух и подняла опущенные веки.

— Вот так-то... Вот... И мы тоже еще... Не забыли, видать... Без антибиотиков ваших...

Начальник линейной милиции Псковского железнодорожного узла, лейтенант Колыванников сидел в дежурном помещении над линованным листом бумаги, вглядываясь в выведенные на первой строчке слова: "Список упущений". Но сосредоточиться все не мог, потому что, как больной зуб языком во рту, трогал, оглаживал, посасывал глубокую и давнюю обиду в душе. И не только на то была обида, что далеко за пятьдесят, уже и скоро на пенсию, а до старшего лейтенанта, судя по всему, не дослужиться, или что в родной семье стало жить шумно, как в самой озверелой очереди, или что здоровье утекало из отяжелевшего тела, а главное на то, что чем дальше, тем больше все вокруг делалось неправильно, неуправимо, не в нужном смысле, не по его. И если он пытался говорить с кем-то, обсуждать, объяснять, как бы надо, слушали его плохо, невнимательно, и то чаще всего только подчиненные или задержанные. Не так говорили люди, не так ходили поезда, не так пахали землю, не в те цвета красили стены, не про то писали в газетах, не туда плыли корабли. Список упущений становился длиннее с каждым днем, но даже если бы составить бумагу, перечислив в ней все, то подать ее наверх по начальству было некому. Начальство с ним не считалось.

Гомон голосов, детский плач, шарканье ног, звяканье касс, запахи жареной рыбы, огуречного рассола, вареной гусятины (с прошлой недели не распродана), нестираной одежды, мазута, локомотивного дыма — все на минуту сгустилось, ворвалось из зала ожидания в приоткрытую дверь, вытолкнув вперед Котьку Сапожникова. Котька придержал покосившуюся милицейскую фуражку, хитрым глазом вгляделся в Колыванникова (видел ты, лейтенант, или не видел, как я вчера со сцепщиками пол-литру раздавил в дежурстве?) и вкрадчиво сказал:

— Совет нужен, Степан Степаныч. Даже, может быть, вмешательство старшего по званию. Вас то есть. Женщина там в зале сидит. Очень несвойственная. И ничего плохого вроде не делает, а смущает. Не прикажете ли привести?

— Что за женщина?

— Одета совсем, как простая, а лицо не сходится. Гладкое слишком. И глаза больно открыты. Смотрит так долго-долго. В такой одежде так смотреть — это явно обман. Спину тоже очень прямо держит. Вообще, хотя по марксийской науке — предрассудок, думаю, сглазная сила в ней есть. Обманчивая женщина. А также прельстительная.

— Ладно, приведи. Но без грубостей. Скажи, дело есть. Начальник, дескать, просит помочь разобраться.

Глядя на закрывающуюся за Котькой дверь, Колыванников вдруг подумал про дочь, что вот в этом, видимо, все дело, в этих словах: "сглазная сила". Нет в ней сглазной силы, а без нее ни кудряшки, ни губки, ни попки, ни титьки не помогут. Как уезжала она тогда в братскую страну на военно-охранную службу работать по призыву военкомата в гарнизонном буфете заведующей и продавщицей, так все на проводах ей говорили, что словит она жениха в первый же месяц ("там ведь без женщин-то они просто на колючую проволоку лезут") и станет то ли капитаншей, а то и майоршей. Но охранять братскую страну от мирового империализма посылали офицеров все больше женатых (и правильно, — чтоб не дурили там с братскими бабами), а с солдатами она не хотела (хотя иной солдат тоже может далеко выслужиться, если выйдет хорошая перетряска наверху среди генералов и маршалов с очищением мест, как раньше бывало). Наконец все же, через год почти, написала, что у нее любовь с лейтенантом Арсением, который на хорошем счету, и взвод его на учениях всегда первый и сам отличный стрелок и они хотят пожениться,

Колыванников, однако, всегда семь раз отмерял прежде, чем чего-нибудь обрезать, так что написал начальнику части запрос про лейтенанта — действительно ли так хорош? И получил ответ, что действительно — отличник боевой и политической, врагов рабоче-крестьянской власти может разить из многих видов оружия на выбор, дисциплину блюдет и даже в самодеятельности исполняет "Танец с саблями" из "Гаяне", но зовут его не совсем Арсений, а Арсен. Арсен Банаян. То есть кругом армяшка.

Три дня после этого Колыванников ходил как обухом в глаз стукнутый. Стоило ему представить знакомых, сослуживцев и начальников, как они будут, усмехаясь, поздравлять его с курчавым зятем или как молодожены приедут на по-

бывку и надо будет звать гостей и притворяться, что все нормально в братской семье народов, и как пойдут потом цыганистые, курчавые внуки, такая изжога разгоралась внутри, протягивалась от живота до горла колючим жгутом и тянулась, раздирая внутренности, так что никакая сода не спасала.

Нет, не то чтобы лейтенант Колыванников был против чучмеков. Все равно их столько уже развелось повсюду, и не только по тамбурам и базарам, но даже на важных постах, при кабинетах и телефонах, так что ради интернационального долга надо терпеть вплоть до мировой революции (а там уж поглядим), да и сам он, если честно сказать, по материнской линии был из казанских татар, — но армяшка!? Нет, это было сверх его сил. Ведь известно же, что армяне не лучше жидов, что у них с жидами страшный заговор и весь мир поделен по Кавказу — что сверху и слева, то жидам, а что снизу и справа — то армяшкам. Только не очень-то они границу соблюдают, если уже до того дошло, что ереванский их "Арарат" приезжает прямо в Москву и нагло захватывает футбольный кубок всей страны. Не скажешь ведь даже, что выигрывает, потому что, кто был на матче, своими глазами видели, как они прямо на поле сотенные взятки "Спартаку" в футболки совали, а уж вратарю и судье так прямо по пачке сотенных. Это уж не упущение, не разгильдяйство, а такой всенародный саботаж, что по двадцатнику надо срока лепить, а вратаря расстрелять в воротах по высшей мере.

И с этой вот всей наглой кучерявостью ему, Колыванникову, с чистым личным делом из одних поощрений и благодарностей, надо было породниться? Да лучше наган в рот и "прошу в моей смерти винить..." — дальше по длинному, давно заготовленному списку.

Конечно, он понимал, что по нынешним временам отцовской волей запретить ей ничего не сможет, особенно в какой ни на есть братской загранице. Так что он виду не подал, что против, даже жене не сказал, а заперся здесь в дежурке и наступал одним пальцем на пишущей машинке начальнику части:

"Будучи лучшей подругой Колыванниковой А.С, но комсомолка и член ДОСААФ, довожу до вашего сведения о ее идейной незрелости по причине слушания вражеских радиопередач, а также хвалила заграничную одежду и помаду для

губ, а также в туристской поездке в Ленинград встрети-лась на набережной Эрмитажа с иностранным ирландцем (видимо, си-ай-ей), снимались на фоне секретных объектов через Неву, которые мосты никто не может у большевиков с 1917 года отбить, а также была с ним в переписке, которые открытки до сих пор хранит в альбоме киноартистов и пейзажей".

Раньше бы он такого не сделал, он своей дочери не враг и не изверг, но теперь не прежние времена, железная метла поистрепалась, обмякла, так что дочь не арестовали, а только демобилизовали из части и отправили домой. Арсению же дали выговор за утрату бдительности и раскрыли глаза, что с такой женой оставаться бы ему всю жизнь не выше капитана где-нибудь на Новой земле имени Франца-Иосифа-Шпицбергена-Беринга. И все было бы хорошо, но дочь так на это все разозлилась, что уже по дороге домой прямо в поезде стала сильно гулять и пересела ехать на Москву и в Москве снова гуляла на все заработанные в братской стране деньги и чего-то такое, видимо, нагуляла себе — то ли ребенка, то ли болезнь, — потому что ходит теперь в женскую консультацию и с матерью лается, а ему не говорят, но так неуважительно честят его каждый день, что хоть прячься на службе все двадцать четыре часа.

Лицо вошедшей женщины было не то чтобы испуганным, а скорее, как у пассажиров отрывающегося от земли самолета — замкнутым, с некоторой как бы сдавленностью мышц. Вроде и не молодая уже, явно за тридцать, а в то же время ничуть от прожитого куска не усталая — хоть еще десять раз по столько. Волос светлый, северный. Пальто, боты, платок — все старое, страхотное. Но правильно Сапожников подметил (есть глаз у парня) — с чужого плеча эта страхотность, с чужой ноги. Не могут, не умеют они себя скрыть. Уж если захотела ты для чего-то прикинуться попроще, ты спину согни, живот выпяти, цепляй носком за пол, глаза луком натри для красноты, на носу прыщ какой-нибудь распусти. Не гляди так прямо, не садись, взмахнув полкой, не говори гладким голосом книжные слова: "Чем могу служить?", не закидывай нога на ногу!

— А я. Между прочим. Садитесь. Вам. Не предлагал.

Вышло хорошо — внушительно,

Лицо женщины замкнулось еще больше. Она глубоко вздохнула, пожалала плечами. Потом медленно поднялась, отошла к стене.

— Сумку можете поставить.

— Ничего, я подержу.

— Поставить, я сказал.

Она подчинилась.

— Фамилия? Имя? Отчество?

— Это что же, допрос? Я что — задержанная?

— Пока не знаю.

— На каком основании вы меня задержали?

— Вопросы здесь задаю я. Ваша фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы, место жительства? Идет выяснение личности. Потом решим, что с этой личностью делать. Фамилия?

Она нехотя ответила.

— Громче.

Она повторила.

— Какой имеете документ для подтверждения?

— Никакого.

— Все равно проверим. Место жительства?

— Ленинград.

— Работы?

Он стал записывать. Слова привычно ложились в протокол допроса, но он почти не вникал в их смысл. Ибо смысл этих первых обязательных вопросов всегда был один: каждый ответ, как виток лезы, лежащий на катушку, подтягивал человека все ближе, все меньше оставлял ему свободы метаться и уворачиваться, все неумолимее приближал к сачку, к тому моменту, когда появится над поверхностью раскрытый, задышающийся рот. И каждый раз это волновало. С женщинами — особенно.

— С какой целью приезжали в Псков?

— Навестить знакомых.

— Адрес знакомых?

— Они живут в деревне.

— В какой?

— Волохонка.

— Снимите пальто.

— Что-о?

— У нас есть заявление о краже женского пальто. Снимите свое и положите его на стол. Мне нужно осмотреть. Сумку поставьте сюда.. Теперь отойдите к стене. Так. Что это за пятно?

— Кровь.

— Чья?

— Моя. Бывает раз в месяц.

— Вроде культурная женщина...

— Ни культурной женщине, ни темной в вашем городе негде купить ваты.

— Что у вас в сумке?

— Нельзя.

Он взялся за молнию,

— Нельзя, — настойчиво повторила она. — Это уже обыск. На обыск нужен ордер. Я пожалуй прокурору.

Она старалась говорить уверенно, но он чувствовал, что теперь она испугалась всерьез. Он и сам ощущал непривычно сильное стеснение в груди. Будто леса, натянутая между ними, не только ее подтягивала к лодке, но и его грозила опрокинуть наружу, через борт. Он замешкался наполовину растегнув молнию, но не потому что его встревожили ее угрозы (грамотные стали — прокурору жаловаться), а потому что так слишком быстро кончился этот горячий лов. Что бы она там ни прятала (браконьерский мех? банка лососевой икры? серебряный оклад с иконы?), в тот момент, как он достанет это из сумки, леса ослабнет, провиснет. Он увидел в приоткрывшуюся щель угол конфетной коробки, какие-то бутылочки, испачканный красным платок.

В дверь постучали.

— Нельзя! Я занят!

Он подошел к дверям, щелкнул предохранителем замка.

Женщина медленно сдвинулась вдоль по стене, подальше от него. Он поглядел на нее, и от ее расширенных страхом глаз в душу ему хлынуло такое пенящееся торжество, что вот наконец-то после всей изжоговой тоски и досады последних дней наступает хоть один момент, когда в этом маленьком углу между ними все будет по его, совсем по его, когда он может приказывать так же, как когда-то давно, в начале службы ему приказывал гонявший его до полусмерти старшина: "Молчать! Говорить! Повернуться! Лечь! Встать! Лечь! Встать! Лечь! Лечь! Лечь! Лечь!"

— Сама, — хрипло сказал он, протягивая ей обеими руками сумку. — Сама откройте.

Она замотала головой и положила руку на горло. Он сделал еще шаг и увидел близко-близко ее ловащие воздух губы, увидел, как рука ее скользнула чуть ниже, оставила как бы для облегчения вздохов расстегнутой верхнюю пуговицу на вороте, взялась за следующую. И хоть он и не приказывал такого, это было уже так по его, по самому нутряному его, даже без словесных приказаний, что он тяжело задышал, надвинулся на нее вплотную, прижал ее, мягкую, животом к стене, и рука ее покорно перешла ему на плечо, на шею, и она начала говорить ему над ухом что-то своим негромким прельстительным голосом, но кровь так стучала в голове, что он не мог разобрать — что, только слышал настойчивый, неуловимо меняющийся ритм, звуки, похожие то ли на причитания, то ли на всхлипывания, их ускоряющуюся смену, нарастания и спады, и последнее, что он помнил, была страшная, ослепляющая боль, пронзившая ему голову от виска до глаза.

Скребя колючей щекой по открытой полоске кожи на ее груди, обрывая пуговицы платья, лейтенант Колыванников стал медленно оползать на пол.

4

Милиционер Сапожников, усмехаясь, посмотрел вслед выбежавшей из кабинета женщине (волосы растрепаны, без платка, пальто полурасстегнуто — ай да лейтенант! востер еще, быстро) и даже перешел к другому окну, чтобы проследить, как она повертелась по перрону, кое-как привела себя в порядок, застегнула сумку и, оглядевшись по сторонам, юркнула в ленинградский поезд. Но с того места, где он стоял, ему не было видно, как она прошла внутри по вагону, перешла в следующий, промелькнула за его тусклыми окнами и так добралась до последнего, в захлестнутом за изгиб рельсов хвосте поезда, выпрыгнула из него прямо на пути и быстро двинулась узким простенком в сторону автобусного вокзала.

Насчет настроений начальника и как их можно улучшить Сапожников подметил уже давно. Но не всегда удавалось оты-

скать в зале подходящий объект. Потому что простые базарные спекулянтки или мелкое жулье, или пьяницы, наоборот, только выводили лейтенанта из себя. А сегодня так все вышло удачно, и объект попался отличный, то есть сопротивляющийся поначалу, качающий права, и все, видимо, гладко прошло. Так что не только его вчерашнее баловство с водочкой должно быть забыто, но можно даже, пожалуй, будет попросить о чем-нибудь. Например, чтобы пристегнул ему отгулы, какие накопились за сверхурочные дежурства, к отпуску или еще чего.

Железная судорога прокатилась от головы состава до хвоста, вагоны поплыли один за другим из-под навеса наружу, под черное небо. Провожающие сделали свой обычный короткий танец по перрону: сначала с поднятой рукой немного вперед, потом с оттекающей от лица улыбкой назад к выходу. Проводница в дверях последнего вагона держала свернутый в трубку флажок высоко, как свечу.

Пожалуй, теперь уже можно было зайти перемигнуться с начальником. Сапожников постучал, просунул голову в дверь, увидел, что за столом никого нет. Хотел уже уходить, но тут краем глаза заметил валявшийся в углу сапог. Подумалось: "Что же это он — раздеться успел, а одеваться не стал?"

Осторожно засунулся в кабинет по грудь и тогда увидел впридачу к сапогу и всего лейтенанта, обутого и при форме, навзничь, головой в угол, с остекленевшим взглядом и белой полосой слюны изо рта. И еще даже не решив, куда кидаться сперва, — то ли к телу, то ли в медпункт за сестрой, то ли к телефону, звонить на следующую станцию наперехват уехавшей женщине, — подумал ясно-ясно, будто признался себе без уверток: от этой ведьминой прельстительницы, от ее долго глядящих глаз — чего-то такого или еще похуже — с самого начала он, ефрейтор Сапожников, повидавший на службе тысячи диковинного люда, ждал.

"...а проведенное позднее медицинское обследование вынесло лейтенанту Колыванникову С.С. диагноз паралича в результате кровоизлияния левой половины головного мозга, каковое кровоизлияние надо считать следствием противозаконного полового возбуждения, в каковом пострадавший упражнялся и раньше в часы дежурства, по показаниям стар-

шины Сапожникова, каковой старшина выказал решительность в неудачной поимке половой возбудительницы, оперативно позвонив на станцию Луга для перехвата, но проведенный осмотр поезда результатов не дал, так же как и поиски через адресный стол города Ленинграда гражданки якобы Рыжовой якобы Лидии Игнатьевны (как записано в протоколе) Ни Серафимовой К.Б., противозаконно уехавшей от колхозного труда из деревни Волохонка.

По всему вышеизложенному, а также для снижения процента нераскрытых дел по Псковской области, предлагаю в случившемся считать подозреваемым, а также виновным лейтенанта Колыванникова С.С., но к уголовной ответственности не привлекать, как достаточно уже наказанного самой жизнью и нашей советской действительностью. На пост начальника линейной милиции Псковского железнодорожного узла предлагаю рекомендовать старшину Сапожникова с повышением в чине.

Старший следователь прокуратуры Псковского
Горисполкома Фильченко Т.З.

НОЯБРЬ, ВТОРОЙ ГОД ДО ОЗАРЕНИЯ, ВЕНА

1

Так уж бывает от рождения: у одних людей есть чувство пространства, у других — нет. У Аарона Цимкера оно было. И не только в том узком смысле, что он мог с закрытыми глазами извлечь из письменного стола нужную линейку, калькулятор, картотечный ящик, рулон клейкой ленты или что, не поворачивая головы к окну, мог сказать, в какой стороне от его конторы находится Святой Штефан, в какой — Дунай, в какой — Тиргартен, а и в том более широком и важном смысле, который позволял ему ощущать с в о й с т в а пространства, то есть сгущение опасности в нем или, наоборот, просветы надежды — со всеми возможными здесь оттенками, переливами и разными степенями напряженности.

И как рано, как спасительно рано в нем это проявилось!

Ведь ему и семнадцати еще не было, когда Советы под гро-

хот гусениц вкатили к ним в Кишинев летом сорокового, — "броня крепка и танки наши быстры" — веселые толпы на улицах, цветы и старый дурак винокур Цимкер с красным бантом на груди, сияя, выкатывает "освободителям" бочонок молодого вина. Что же заставляло его, мальчишку, в те веселые дни держаться в тени? Не участвовать в семейном ликовании? Вчитываться в еще выходявшие газеты, вслушиваться в обрывки радиопередач, вглядываться в хитро сощуренные глаза солдат и командиров, бродивших от лавки к лавке, скупавших на рубли (ничего не стоившие, но кто же это мог знать?) одежду, консервы, мыло, ткани, обувь, ковры, посуду, гвозди, пуговицы, иголки — все.

Кучки любопытных ходили за ними, кто знал по-русски, пытались выпрашивать:

— А что, какво, ребята, нынче живется в России?

— Да сами знаете: буржуев нет, помещиков прогнали, работаем на себя — чего лучше.

— Ну а в колхозах?

— Земля общая, тракторами пашут, комбайнами убирают.

— И в городах работа есть?

— На каждом углу объявление: требуются, требуются

— А в магазинах как?

— Полки от товаров ломаются.

— Что же вы тут ходите, скупаете все подряд?

— Надоело все свое. Родня просит чего-нибудь новенького, заграничного.

— И колбаса продается?

— Всех сортов.

— И масло?

— Бочонками.

— Меха раньше в России были знатные.

— Как раз этой зимой жене лисью шубу купил.

— Молоко?

— Хоть залейся.

Но то ли уловил что-то молодой Аарон в солдатских усмешках, то ли и сам знал уже по себе это особое удовольствие — надувать олухов-чужаков, то ли необъяснимое ощущение надвигающейся из безоблачного пространства беды подтолкнуло его, выбросило на язык вычитанное из медицинских книг слово, продвинуло вперед сквозь толпу:

— А как насчет цирроза печени?

— С циррозом в этом году особенно удачно, — сказал солдат, подмигивая давящемуся от смеха товарищу, запихивая в вещмешок рулон рыболовной сети. — Есть и вразвес и банками.

Молдоване с умным видом закивали, зацокали языками, а печальный Аарон выбрался из толпы и побрел домой.

Уговорить отца нечего было и думать: он помнил погром 1903 года, и для него все, кто бился с царем и с черной сотней, навсегда стали лучше родного брата. Но старшая сестра Рива поддалась, собрала все, что у нее было накоплено на приданое, и в ту же ночь они вышли тайком из родного дома, оставив записку с тысячей поцелуев, пожеланий счастья, мольб о прощении, но без указания своего маршрута или конечной цели побега.

Цель же была ясная, давно назревавшая в душе, маленькими брошюрками и бродячими ораторами возвращенная, — Палестина.

Уже в Болгарии до них стали доходить слухи о начавшихся в Молдавии арестах и высылке "буржуев". Потом все затянуло дымом и грохотом войны. Никаких вестей. Сунулись было в Грецию, но оттуда немцы уже гнали англичан, и никаких старинных Фермопил пока не намечалось. Они медленно уходили все дальше к югу, переплыли на рыбацьем баркасе в Турцию, потом добрались до Кипра, и тут им сказочно повезло: встретили еврея-автомеханика, знавшего их отца десять лет назад еще по Кишиневу и имевшего хороших друзей в порту. Вместе они отплыли в Хайфу, счастливо проскочили в утреннем тумане мимо английских патрульных катеров, над немецкими подводными лодками, под неизвестно чьими самолетами и оказались в земле обетованной — грязной, бедной, заполненной распрями и ночной стрельбой, и все же самой безопасной в те годы на сотни миль вокруг.

Нет, никто бы не посмел сказать про Аарона Цимкера, что он всю жизнь только бегал, прятался и отсиживался. Не в его ли гараже в 1946-ом был построен склад оружия, а потом и местный штаб Хаганы? Не он ли провоевал всю войну 1948-49-го от начала до конца? Да, больше за рулем, но сколько раз им приходилось отстреливаться прямо из кабин, из кузовов, из-под колес в этой дурацкой, не по правилам, войне,

похожей на долгую череду погромов, накатывавших то в одну, то в другую сторону.

И то, что он в конце концов переехал в Вену, никак не было связано с опасностью жизни в Израиле. Возможно, для израильского гражданина Вена сейчас была гораздо опаснее даже Западного берега Иордана. Во всяком случае Сильвана была в этом уверена и каждый раз пыталась нагнать на него побольше страха. В последнем письме от нее опять были газетные вырезки — изрешеченные пулями автомобили, развороченные киоски, раненые на носилках, портреты похищенных. У них в Италии такие снимки можно было уже делать просто высунувшись из окна собственной квартиры, террористы разгуляли в свое удовольствие. Но и здесь в Вене они не дремали. Захват поезда, взрыв у синагоги — это бы еще ладно. Но украсть разом всех нефтяных министров — это вам не бомбу в багажник подсунуть. Тут нужны настоящие головы. И если какая-нибудь из таких голов заинтересуется Аароном Цимкером и попробует выяснить, что за Фонд он представляет и куда уходят переправляемые им деньги, тогда... Да, пожалуй, не следует ходить в банк одной и той же дорогой, да и в то же самое время.

На столе заурчал рыженький, подаренный Сильваной телефон.

— Аарон, старина, как поживаете? Как грыжа? Или это был аппендицит? Что-то такое ведь вам отрезали недавно — верно? Я не помню что, но, надеюсь, это были не...

— Маричек, не морочьте мне голову. Если хотите упражнять свое остроумие на моем здоровье, международный разговор пойдет за ваш счет. Что у вас стряслось?

— Нам нужны новые термопары.

— На термопары-то вам еще хватит.

— Аарон, не падайте со стула, не ругайтесь, но нам нужны платиновые.

— Маричек, вы обнаглели. Хром и молибден вас уже не устраивают?

— Хромовые горят, Аарон. Сгорают, как мотыльки на свече. Мы дошли до таких температур, которые выдерживает только платина. Подбросьте нам денег из будущего года.

— Никто еще не давал вам денег на будущий год. Фонд не рассматривал ваш отчет.

— Если не даст, мы поделим с вами платину и поедем в Монте-Карло. Идет?

— Маричек, я не кончал столичных университетов, но свой инженерный диплом я заработал честно. И вам не удастся напустить мне ученой пыли в глаза. Говорите, сколько вам надо. Я куплю сам и вышлю авиаказачным. Денег вы больше не получите в этом году ни шиллинга.

— Куплю! Вышлю! Да это нам неделю ждать. А деньги пришли бы уже завтра.

— Сколько?

— Шесть штук. С платиновым участком не короче тридцати миллиметров.

— Я куплю два.

— Жмот. Гобсек. Плюшкин.

— И самые дешевые.

— Недоучка. Старая перечница. Мелкая душонка. Рожденный ползать. То есть гад ползучий.

— А если вы, щупая лаборанток, зазеваетесь и упустите температуру еще выше, за сожженную платину, — он не мог упустить подвернувшуюся русскую рифму, — ох и заплатите!

Нет, все же ничто так не украшает талантливого еврея, как страдания и преследования. Как они были милы и трогательны, эти мальчики, когда он подбирал их здесь в коридорах ХИАСа — бледных, безъязыких, беспаспортных, оторванных от привычной российской рутины, с тонкими шеями, на которых кадык двигался, как ком всех проглоченных обид, со лбами, на которых словно бы проступали тысячи больших и малых штампов, с пальцами, судорожно сжимавшими то клочки неутвержденной диссертации, то русско-английский разговорник, то семейный альбом, откуда таможенник успел вырвать фотографию погибшего отца: в военной форме — нельзя!

И что же?

Стоило им почувствовать почву под ногами, поверить в то, что сказочная работа, устроенная им Аароном Цимкером, не мираж, не пустая приманка, а именно то, о чем можно было лишь мечтать, засыпая где-нибудь в московской или одесской коммуналке, как они нагтели, приобретали замашки скороспелых боссов, клали ноги на стол, откусывали руку вместе с протянутым пальцем.

Аарон пошел к книжному шкафу, глянул по дороге в зеркало, стер с лица умильную улыбку, достал каталог нужной фирмы. Но, листая страницы, вглядываясь в сверкающие глянец очертания приборов, все утекал мыслями в сторону от дела, косил взглядом на фотографию трех обнявшихся парней в пятнистой солдатской форме — его племянников, сыновей Ривы, — и, как всегда, слишком пристальное вглядывание в эту фотографию вызвало в душе чувство падения с нарастающей скоростью, как на лыжном спуске, когда все внутри начинает сжиматься и требует: затормози! сверни! довольно! Потому что та манящая бездна нежности, которая несетя навстречу, ничем другим, кроме смертельной опасности, кроме мгновенного ослепления на крутом повороте, обернуться не может. Потому что судьба и люди завистливы и им нельзя сознаваться в таком чувстве, нельзя даже виду показать.

"Потому что судьба не любит счастливых", — сказал он себе, слегка любясь прочностью, какую обрело самооправдание, подпертое афоризмом.

"А Бог не любит трусов", — тут же отомстила страсть к афоризмам, которая тоже легко вырывалась из-под контроля и за которой тоже нужен был глаз да глаз.

Да почему же, почему — трус? Если на пирушке вас будут угощать обильной выпивкой и вы, хмелея и веселясь, все же заметите, что свет тускнеет в глазах, что зрение уходит, не заподозрите ли вы, что то ли питье непривычно крепко, то ли подмешано к нему что-то, не решите ли, что лучше остановиться, кончить на время, уйти от греха подальше? А именно нечто подобное ощущал он всякий раз, когда голова начинала кружиться от нежности к кому-то: утрату своего главного инстинкта — умения замечать задолго приближающуюся из окружающего пространства опасность. И можно ли обвинять его за то, что он всякий раз бежал, пытаясь спасти свой бесценный радар?

Конечно, с Сильваной все было по-другому. От нее он никуда не бегал, хотя голову терял сильнее, чем с кем-нибудь еще, от одного ее голоса кровь кидалась к щекам (и не только туда). Особенно в тот, самый первый раз, когда она приезжала совсем молоденькой журналисткой на первую войну и его приставили к ней шофером и переводчиком. Она еще бы-

ла такая страстная католичка, что после их первой ночи (на спальном мешке, расстеленном прямо под деревьями, на расчищенном от палых апельсинов клочке травы, и ночью апельсины продолжали падать со стуком, запах их кислил черный воздух) она плакала, что не может исповедаться после такого греха, а он — этакий умник — предложил ей съездить для этого в Иерусалим, где еще оставались неразрушенные церкви, и они присоединились к конвою, и уж то, что никакой радар не предупредил его заранее, под какой страшный обстрел попадут они по дороге, — одно это уже говорит, насколько она взбудоражила ему душу. Настолько, что уже тогда он признался ей в том, в чем не признавался ни до нее, ни после никому — в своем страшном грехе (не таком пустяке, как у нее), — так ему хотелось, чтобы она принимала, брала его целиком, со всем, что в нем есть. И она жалела его тогда, что по своей вере он не может исповедаться и получить отпущение (как все же все нехристиане слепы! зачем устраивают себе такое мучение?) и обещала молиться и за него тоже.

Ни он от нее не убежал, ни она от него. Просто такое творилось кругом и так казалось, по молодости, что если выжить, то вот уж чего-чего, а этого горячечного зацеловывания друг друга по ночам, этих стонов и счастливых слез будет еще впереди в жизни без конца. Да и не было у них чувства расставания. Какими-то они тешились планами, что он придет вслед за ней в Рим, откроет там дело или поступит учиться или, наоборот, что она получит место в только что открывшемся в Тель-Авиве итальянском посольстве и уж не меньше чем через месяц увидятся снова. А вот не увиделись целых семь лет — до следующей войны.

Зато уж в этот, второй раз, помятые жизнью и поуставшие от нее (она — замужем и с двумя детьми, он — после неудачной женитьбы и позорно-скандального развода с истериками, битьем окон, попытками самоубийства), они как вцепились друг в друга в аэропорту, закрыв всей толпе вход на эскалатор, так и провели всю неделю, почти не расцепляясь. Он забросил гараж и ездил с ней повсюду, и оттого, что он всегда ждал внизу в машине, интервью, которые она брала, получались на удивление короткими, но она дописывала и расцвечивала их потом, по ночам, на кухоньке его квартиры, пока он отсыпался в клубках простыней, давая мощному вен-

тилятору остудить жар и пот и синие пятна, покрывавшие кожу в самых неожиданных местах.

Теперь впереди ничего не светило; развод для нее — это что-то немыслимое, да и где бы они могли жить? Оба вросли уже глубоко каждый в свой берег этого главного моря Земли, и язык, на котором они говорили, был чужим для обоих — в первый раз русский, теперь все больше английский. Но именно поэтому каждый час, проведенный вместе, не смазывался больше жадной юношеской рассеянностью, отвлеченностью вперед. Так что этих часов в последующие годы получалось довольно много. Они ухитрились вырваться друг к другу — то он к ней (но не в Рим, а где-нибудь неподалеку), то съезжались посредине, например в Греции, на недорогом курорте, где они подружились с такой же смешанной парой — гречанка замужем за египтянином, — так что, когда они сидели за столиком на террасе ресторана, наследственные права всех четверых на плескавшееся внизу море уходили в такую непроглядную древность, что можно было по-настоящему чувствовать себя вырванным из-под гнета с е г о д н я , растворенным во времени. Особенно, если рядом мелькали завистливые лица зеленых американцев, навсегда зеленых — даже под сединой и морщинами.

Год от года отношения сплетались все теснее, приобретали все черты обычной семейной жизни, в которой просто — вот так уж получилось — разлуки были длиннее встреч. Даже ревность была на своем месте: у него, понятное дело, к ее мужу, довольно успешному адвокату, самозабвенно плескавшемуся в водоворотах итальянской политики, у нее — к его племянникам, к его любви к ним, ревность, разгоравшаяся еще пуще оттого, что она знала, на каком стыде и тайном позоре замешана эта любовь. И так же, как в нормальной семейной жизни, все попытки утаить что-то рушатся не от случайных обмолвок, а от случайных умолчаний, так и он семь лет назад узнал, что она оставила журналистику, только потому что при очередной встрече не всплыло ни одной истории об изуродованной ханжой-редактором статье или о том, какую юбку она сшила, чтобы прорваться и получить интервью у нобелевского лауреата. Но, с другой стороны, он до сих пор не был уверен, что она рассказывала ему все, что знала сама о своей новой работе, об этом Фонде, куда она уговорила его поступить в качестве венского представителя.

Во всяком случае некоторые детали, всплывавшие со временем, заставляли его внутренний радар вздрагивать и издавать тревожные попискивания.

Что ж, пусть так. Зато и он получал законное право не выкладывать ей всего. Например, не сознаваться в том, что из всех аргументов, которыми она давила на него, самым решающим оказались не деньги (а деньги были очень хорошие, чуть не вдвое больше того, что ему удавалось зарабатывать на гараже в битве с израильской инфляцией), не возможность чаще видаться с ней (хотя и это было очень славно), даже не разъезды по всей Европе, о чем он всегда мечтал, а сущая мелочь, постыдный пустяк, помянутый ею как бы в шутку: "И представь, какими глазами будет глядеть на тебя вся еврейская мишпуха".

Ненасытное, все еще не насытившееся (а чем бы оно могло?) тщеславие кишиневского вундеркинда, который был готов отдать все свои пятерки за то, чтобы принять участие в смелом налете на рыбы садки богача Стрымбану! (И при том, что его звали приятели несколько раз, он не посмел.) Рива, конечно, была не в счет, она-то всегда смотрела на него с безоглядным доверием и восхищением, и когда ушла за ним, за мальчишкой, из дому, и когда пробиралась на юг через Турцию, и когда прятались в подвале от обстрелов и бомбежек (и не этим ли коровьим доверием она вогнала его в страшный грех?). Нет, не говоря уже о Риве, вся остальная родня за эти последние годы тоже ушла куда-то сильно вниз, а он заметно вырос над всеми.

Проявлялось это не только в том, как они съезжались поглядеть с ним во время его приездов домой (а приезжал он довольно часто, потому что были у него подопечные и в Израиле), не в том, как принимали подарки, как расспрашивали о европейской жизни и как не расспрашивали о том, о чем он не рассказывал (требования секретности вырастали в Фонде уже до уровня паранойи), а именно и больше всего в том, как все обычные разговоры в семье перестраивались на него. И даже племянники, даже в дни после военных сборов, когда каждый был переполнен расцвеченными историями о ночных патрулях, минах, замеченных кем-то в последнюю секунду, танках, самолетах, торпедных катерах, даже эти грозные, прожаренные солнцем и моторами мужчины оборачивали свои рассказы теперь не друг к другу,

не к отцу с матерью, не к прочим, а в первую очередь к нему — к дяде Аарону, неожиданно выросшему из заурядного держателя автомастерской (которому и в разговор-то не всегда давали встрять) в какую-то значительную и таинственную шишку международного масштаба. Чего уж там скрывать — шишка эта, не показывая виду, каждый раз истаявала от гордости и самодовольства.

Временами он корил себя (не очень сильно) за эти потачки тщеславию, но перемениться не мог — с большим нетерпением рвался съездить в Хайфу, чем в Рим, где его хоть и любили, но видели при этом наскомь. Да и любовь как-то обгоняла живую Сильвану в приобретении старческих черт, все чаще позволяла себе являться под личиной заботы — назойливой тетушки с рецептами от всех хвороб и набором страшных историй на все варианты человеческой беспечности и неосторожности.

Еще до переезда в Вену Цимкер как-то попытался задуматься над причудливым ритмом ее телефонных звонков, когда она то не подавала вестей о себе целый месяц, то звонила три дня подряд ("да ничего не случилось, все нормально, просто захотелось услышать твой голос, целую"), и не знал, то ли обижаться, то ли быть польщенным, то ли пожалеть ее, когда выписал на бумажку даты звонков и понял: каждый звонок раздавался в тот момент, когда в Италию доходили вести об очередном взрыве бомбы, подложенной на базаре палестинцами, ракетной атаке, артобстреле из Сирии, диверсии. Так что, может быть, все, что она пела ему тогда о том, как он подходит для венской работы с его знанием языков и техники и как много он сможет сделать для оголтелого мирового сионизма (на политике они время от времени сцеплялись), и как недостойно мужчины всю жизнь держаться проверенной колеи, — все было только словесным камуфляжем, рекламно расписанным полиэтиленом, под которым лежал тяжелый, цепной, кусачий зверь — страх.

Страх за него.

Но страх, или нет, работа-то действительно оказалась по нем. Так по нем, что он уже и не помнил — жил ли он раньше когда-нибудь с таким же возбуждением, с таким дружелюбным любопытством к каждому новому дню.

Снова заурчал рыжий телефончик — на этот раз чуть другим "римским" урчанием.

— Аарон, золотко, что там у вас? У нас такая мерзкая смесь ветра с дождем, что я едва добежала от паркинга до дверей. Сижу между двух электропечек и до сих пор не могу согреться. Бок онемел.

— А я даже не знаю. Еще не выходил сегодня. На крышах солнце, но ветер, похоже, не слабее вашего. Целую твой онемелый бок. И все, что пониже.

— Спасибо. Это очень мило. Хотя слишком давно уже — все только по телефону.

— Приедешь на викенд?

— Не могу. Обещала мужу пойти с ним на прием. В какое-то посольство.

— Не попадитесь там в заложники.

— Кажется, это венгерское. Или болгарское. В общем из тех, которые не захватывают. Встреча с дипломатами, которых не воруют. Потому что никто за них не даст гроша ломаного.

— Как это твоего Марчелло вдруг занесло к красным?

— Ничего не вдруг. Не надо этих ваших реакционных инсинуаций. Наша политическая ориентация и политическая расцветка сохраняется уже много лет неизменной. Мы постоянно в своем многоцветье, как радуга.

— Что дети?

— У Ванды новый бойфренд. Еще страшнее прежнего. Знаешь, из тех — зацикленных на бомбе. Которые считают, что в ожидании катастрофы можно не учиться, не работать, не чистить зубы, не обуваться, не застегивать ширинку. Но очень сердится, когда Ванда забудет купить ему марихуаны. А у Марио все было так хорошо, но вдруг выяснилось, что уже два месяца он не ходит в церковь. Я думала — натворил чего-нибудь и не хочет исповедоваться. Уверяет, что нет. Настоящий религиозный кризис. Что ему стыдно смотреть на иконы, на раскрашенные статуи и на прочее идолопоклонство. Хочет перейти в протестантизм.

— В протестантизм — это еще ничего. Все же не так хирур-

гически бесповоротно, как иудаизм.

— Ты всегда найдешь, чем утешить.

— На Рождество сумеешь вырваться?

— Постараюсь. Я позвоню через неделю снова. А пока возьми бумагу, записывай. Фонд просит тебя встретиться с одним биологом из Англии.

— Почему с биологом? Почему из Англии?

— Аарон, ты в своем сионистском угаре воображаешь, что головастых мальчиков можно найти только среди бегущих из России евреев. Представляю, какой тон у тебя будет, когда я попрошу тебя встретиться с итальянцем.

— Я ничего не имею против англичан и итальянцев. Я просто думал, что биология...

— Да, биология тоже лежит в кругу интересов Фонда. Впрочем, он, кажется, не совсем биолог. Тут написано также, что токсиколог. Специалист по ядам. Его зовут Чарльз Силлерс. Эдинбургский университет. Он начал какую-то интересную работу, но не успел. Инфляция, урезание средств на лабораторные работы, молодежь увольняют в первую очередь — банальная история. Видимо, он приехал в Вену от отчаяния. Не знаю, чем он намерен заниматься. Предложи ему наши обычные условия. Он остановился в маленьком отельчике на Туркенштрассе. Запиши адрес.

Записывая, он подумал, что все же напрасно она так старается скрыть невинное удовольствие, которое доставляет ей возможность командовать им. Из-за этого служебные разговоры всегда окрашивались фальшью и раздражением. Иногда, правда (вот как сейчас), прорывались и нелепо просительные интонации.

— Записал? Пойдешь прямо сейчас? Тогда положи ручку. Открой нижний ящик. До конца, до конца. Открыл? Достань "ролланда". Только умоляю — не обманывай меня. Можешь издеваться, можешь называть старой истеричкой, можешь злиться, но только сделай, как я прошу. Все как положено: расстегни рубашку, надень на шею, выведи антенну. Бог! Сам Бог-отец тебя покарает — наш общий, — если попробуешь обмануть. Ты слышишь? Наденешь? Не обманешь?

Улыбаясь и качая головой, он извлек из ящика "ролланда" — портативный приборчик в форме медальона, украшенный изображением старинного рога.

— Ну успокойся, конечно, о чем разговор, — приговаривал он, запихивая медальон на грудь, ежась от металлического холодка, просовывая кончик антенны сквозь пуговицы рубашки, цепляя его изнутри к булавке галстука. Инструкция требовала в случае серьезной опасности дернуть за булавку: при этом что-то срабатывало внутри медальона, и он начинал слать радиосигналы о помощи. Но кому?

Цимкера подмывало порой попробовать и посмотреть, что из этого выйдет. ("Ах извините, ложная тревога, сдали нервы, мне показалось, что эта цветочница собиралась задушить меня своими фиалками".) Когда-нибудь надо будет попробовать. Но не сегодня. Сегодня что-то такое было в голосе Сильваны, на что карающий Бог-отец действительно мог откликнуться.

3

Нет, римское ненастье до Вены еще не добралось. Желтые деревья по берегам канала стояли тихо, как в оранжерее, и такой же оранжерейно-стеклянной была серая пелена на небе. На новом торте в витрине кондитерской мерцала клумбочка из засахаренных фруктов. Кольцевой трамвай зашипел дверями, терпеливо подождал неспешащую пожилую модницу в потертых лисьих мехах, сглотнул ее, тронулся дальше.

Цимкер дошел до Шоттенринга, остановился у перекрестка. Знакомый араб-газетчик, как всегда, зазывно улыбнулся, и Цимкер, как всегда, купил у него газету, приплатив несколько пфеннигов. Зажегся зеленый для пешеходов. Араб, подняв пачку над головой, пошел вдоль шеренги притормаживающих машин. Его оранжевый жилет светился так, будто в него был завернут еще один светофор. Женская рука мелькнула в приспущенном окне, и газетчик метнулся к ней, захватывая газетой, как сачком на редкую бабочку.

Штурвал и флаги в окне, медные иллюминаторы — кафе в стиле старинного парусника. Еще одна кондитерская. Дешевая распродажа бананов прямо на улице. Табачная лавка. Дальше начинался замок из красного кирпича, занимавший целый квартал, — полицейское управление. Двое дежурных громко переговаривались у входа. По отдельности Цимкер довольно легко переносил эти две вещи — зеленую форму и

немецкую речь, — но вместе... Никакие самоуговоры — вот к ним-то и побежишь искать защиты от улыбающегося араба, австрийцы не немцы, тоже от них натерпелись, — не помогали. Сорокалетней давности инстинкт подминал всякую логику.

Гостиница на Туркенштрассе оказалась довольно чистенькой, но что-то было в характере этой подчеркнутой чистоты, чему подошло бы объявление над окошком портье: "Мы принимаем в уплату только последние деньги". Взгляд хозяйки прошелся по Цимкеру, словно отщелкивая вопросы невидимой анкеты — шляпа? пальто? запах? зонт? стрижка? ботинки? — и, исключив его из категории возможных постояльцев, затеплился вопросительной улыбкой.

— Мистер Силлерс? Да, думаю, он у себя... Да, шестнадцатый номер. На втором этаже. Если желаете, я могу проводить.. Нет?.. Хочу только предупредить, что у нас довольно строгие требования насчет шума. Большинство здесь — рабочие-иммигранты, многие работают в ночную смену, так что днем им нужно отоспаться. Надеюсь, вы понимаете?..

Обремененный своей респектабельностью и связанной с ней обязанностью всепонимания герр Цимкер поднялся на второй этаж. Прошел мимо кухоньки, где несколько человек различной степени темнокожести и курчавости что-то такое варили, разогревали, подстирывали. Постучал в номер шестнадцать.

Латаные джинсы и вытянувшийся на локтях свитер — это было нормально, то, что он и ожидал увидеть, — униформа их поколения. Но на молодом человеке был еще и нелепый песочный жилет с атласной спинкой — и это уже отдавало бегством, мародерством, ночами у костра, ездой под вагонами, дезертирством. Крупные по-лошадиному зубы, не давая губам сомкнуться, создавали иллюзию навечно припечатанной к лицу улыбки.

— Но послушайте, я вчера искал ваше управление целый день и не мог найти. Видимо, мне дали неверный адрес. Я собирался пойти сегодня снова. Мне не было смысла регистрироваться раньше, я думал со дня на день уехать из Вены.

— Как сильны все же колонизаторские замашки, — усмехнулся Цимкер. — Джентльмены с берегов Темзы до сих пор уверены, что в любом конце земного шара туземцы обязаны понимать английский.

— Я не с Темзы, У нас в Эдинбурге — Фирт-оф-Форт. Это залив.

— А я не из полиции. Представляю Международный фонд финансирования исследований. Который и попросил меня встретиться с вами. Вы позволите?

Цимкер положил на стол свою карточку, взялся за спинку стула и, чуть опередив кивок молодого человека, уселся лицом к свету.

— Вы собираете деньги на исследования, мистер... э-э... Цимкин?

— Цимкер, мистер Силлерс, Аарон Цимкер. Нет, не собираем. Скорее, раздаем. Порой, я бы даже сказал, разбрасываем. Если у человека есть научные идеи, он может обратиться в Фонд за помощью. Иногда Фонд, наоборот, сам предлагает финансировать какой-то многообещающий проект. Если, конечно, человек еще не устроен прочно в каком-то университете, не имеет собственных планов. Насколько мне известно, вы сейчас как бы в вынужденном отпуске?

— Если вы про то, что меня вышибли из Эдинбургской богадельни, — то да. Один приятель здесь в Вене обещал мне кое-что устроить, да вот куда-то запропастился. На вокзал не пришел, телефон молчит. А вы-то как меня нашли?

— Фонд следит за научной литературой, за публикациями, за разработкой новых направлений, за конференциями, даже за поездками талантливых ученых.

— Слушайте, кончайте вы это.

— Что именно?

— Да вот "талантливых" и прочую волынку. Не издеваться же вы сюда притащились. Давайте про дело. Вы нанимаете куда-нибудь? Ищете рабочую скотинку подешевле? Готов хоть пробирки мыть. Только мне надо сначала выбить разрешение на работу. А это тут не просто.

— Как вы думаете, сколько бы вам понадобилось денег на разработку того, чем вы начали заниматься в Эдинбурге? Если бы явился богатый дядюшка и сказал: "Ну, Чарльз, на дело твое готов пожертвовать — проси, не стесняйся". Что бы вы ему ответили?

— Что стесняться не собираюсь. Потому что богатые дядюшки богатеют только за счет выжимания соков из бедных племянников. Это им надо нас стесняться.

— А-а, ну тогда, с такими взглядами, вы просто слишком рано вышли из поезда. Вам бы следовало проехать еще километров пятьдесят — до самой границы. Вот там бы ваше сердце порадовалось, вот вы бы полюбовались, как чудно победившие племянники распоряжаются богатством перерезанных дядюшек. Ювелирная работа! Столбы, — как колонны. Проволока между ними натянута идеально, — как в раскрытом рояле. И на каждой струне — колючки, колючки. Какие-то еще маленькие проволочки накручены: желтые, красные, синие. Где сигнализация, где электроника, где ток высокого напряжения, где стреляющие механизмы. И так — на десятки километров. С одной единственной целью: не допустить несчастья, не позволить заблудшей овце сбежать по недомыслию из пролетарского рая. Однажды рано утром я видел, как с этой стороны подбежал к проволоке заяц, и не смог пробраться. Зачем-то, видимо, ему очень надо было на ту сторону, а не смог. Так и ускакал обратно.

— Про зайца вы выдумали.

— Клянусь! Видел. Но вас пусть это не беспокоит. Вам откроют узкие воротца и пропустят внутрь с удовольствием — только попроситесь. Обратно, правда, не поручусь. Разве что, как Освальда: баловаться здесь снайперской винтовочкой. Впрочем, вам, кажется, привычнее яды.

— Слушайте, зря вы раскипятились. Я не красный и ничего такого. Просто очень много дерьма развелось, и все оно — на поверхности. Там еще хуже, чем здесь. Я знаю.

— Что вы знаете, всезнайки с дипломами?! Что? — завопил вдруг Цимкер. — Только то, что вам подсовывают под нос ваши газеты и телевизоры. Что во Вьетнаме был напалм, в Камбодже — бомбы, а в Иране полиция шаха пыталась арестованных. И вы поднимаете тогда вселенский хай и добиваетесь своего — прекратить! Янки гоу хом! А все что вам нужно, — это, чтобы не было на экране израненного ребенка крупным планом, чтобы ваше сострадательное сердце не обливалось кровью. А уж там, сколько сотен тысяч тех же вьетнамцев пошло ко дну, пытаюсь бежать от победивших племянников, и сколько детских ртов захлебнется океанской водой, — это вас не касается. Потому что этого вам крупным планом не покажут. И сколько бы миллионов не было забито потом в Камбодже прикладами, уморено голодом и сколько бы народу не

послал на расстрел какой-нибудь аятолла, — ваших газетчиков при этом не будет, телекамеры туда не доберутся. Где же они все теперь? Они все теперь толпятся там, куда их еще пускают. Например, в Иерусалиме. Вот где еще можно поживиться остренькими новостями, вот откуда хорошо давить на сострадательные заячьи сердчишки, вот где благородный гнев...

Он вдруг замолчал и, тяжело дыша, откинулся на спинку стула. Ну действительно, чего он так завелся? Была какая-то фальшь — не в том, что он выкрикивал сейчас, а в том — к о м у . Вот так всегда: накидываешься не на того, кто понастоящему заслуживает, а на того, кто станет слушать. И упреки обрушиваешь на того, кто способен их воспринять, то есть на совестливого. "Артиллерия бьет по своим..."

Он ничего не мог с собой поделаться: этот эдинбургский Чарльз, на которого Фонд собирался излить очередную порцию своей щедрости (обделяя при этом Фиму из Харькова или Леву из Риги), нравился ему. И его лошадиные, выдвинутые в припечатанной улыбке зубы, и взлетающие на каждом слове кисти рук, и манера пофыркивать от нетерпения. Даже нелепый наряд. На столе лежала заложенная трамвайным билетом книга в старомодном, с остатками позолоты переплете. Фамилия автора ничего не говорила Цимкеру — и это вызывало чувство, похожее на почтение.

— Ну, хорошо. Давайте к делу. Вот бланки контракта. Ознакомьтесь не спеша, внимательно прочтите. Если он вас устроит, надо будет составить смету: сколько понадобится на аренду лаборатории, на оборудование, на плату сотрудникам. Цены берите приблизительные, как вы их себе представляете. Я потом уточню по прейскурантам. На составление сметы уйдет какое-то время. Несколько дней. Чтобы вы могли заниматься ею, не отвлекаясь, вам дается аванс. Наличными. Здесь пять тысяч шиллингов — распишитесь.

Силлерс взял протянутую пачку банкнот, раздвинул их веером, обмахнулся несколько раз. Потом прижал к носу, понюхал и обалдело глянул поверх нее на Цимкера:

— А ведь похоже, что вы все это всерьез, а?

— Абсолютно всерьез.

— Но ведь это не "Тысяча и одна ночь", мы не в Багдаде и,

судя по вашей фамилии, арабским Гарун-аль-Рашидом вы не можете быть никак.

— Фонд финансирует исследования не вполне бескорыстно. Из контракта вы увидите, что он присваивает себе исключительное право на любое промышленное использование ваших открытий.

— А если никаких открытий не будет сделано?

— Контракт подписывается на год. В конце года вы представляете отчет. Если Фонд найдет работу перспективной, контракт будет продлен. Если нет, — вам скажут "до свиданья".

— Нет, постойте, постойте. Вы хотите сказать, что вот... Ну я подпишу контракт, подсуну вам смету, и вы начнете платить по моим счетам? Закупать оборудование для оборванца, которого видите первый раз в жизни?

— Фонд навел справки о вас, собрал кое-какую информацию и решил, что с вами можно работать.

Руки Силлерса опять взлетели несколько раз — на колени, в воздух, на колени, в воздух. Потом он повалился спиной на кровать, задрал ноги и, хохоча, задрогал грязными кедами.

— Извините... Бога ради, мистер Цимаронкер... Я не над вами... Просто в жизни своей не слыхал такой соблазнительной чуши...

— Кроме того, у нас довольно строгие ограничения, связанные с секретностью. Публиковать статьи, участвовать в научных конференциях, представлять куда-то диссертацию — обо всем этом надо будет забыть на время действия контракта.

— Не знаю. Ох, не знаю к чему вы клоните, но за пять тысяч шиллингов — не беспокойтесь! — я честно вам все распишу. Ха-ха! — такого напишу, что не обрадуетесь...

— Вы также не будете иметь право сообщить кому-нибудь свой настоящий адрес... Даже мне... Только телефон и номер ящика в почтовом отделении...

— Мне понадобятся змеи! — Силлерс вскочил и уставил в Цимкера угрожающий палец. — Кобры, гюрзы, гадюки — целый террариум. Вы знаете, сколько стоят змеи? Ого-го!

— Сотрудников вы сможете отбирать по собственному усмотрению...

— ...и установка для микроклимата...

— ...но окончательно утверждаться они будут Фондом...

—...и химический анализатор с компьютером...
 —...после соответствующей проверки...
 —...центрифуги, электронный микроскоп, подопытные мыши, человеческая кровь...

Отмахивающийся Цимкер был уже у дверей, когда Силлерс — улыбка до ушей, десны торчат, пальцы запущены во взъерошенные волосы — крикнул ему с кровати:

— Сейчас я вас добыю, уважаемый Циммерманкер! Мне понадобится женщина.

— Надеюсь, не для опытов?

— Мне понадобится совершенно особенная, единственная в своем роде красная женщина.

— Включите ее в смету. Скажем, как гигантскую игуану. Или смотрительницу террариума.

— Впрочем, может, она и белая. Или зеленая, или еще какая.

— Что вы имеете в виду?

— Она живет в стране победивших племянников. За натянутыми колючками, за заряженными самострелами. Но на самом краю — в городе Таллин.

— Да, это будет посложнее. Но если очень нужна, попробуем что-нибудь сделать.

Спускаясь по лестнице, Цимкер понял по поджатым губам хозяйки, что крики Силлерса долетали сюда и что, возможно, уже сегодня с него потребуют плату за неделю вперед. Шарф за что-то зацепился под застегнутым пальто, никак не выползал на положенное ему место — волной под подбородком. В нетерпении он хотел рвануть, но вовремя спохватился расстегнул две верхние пуговицы и, стараясь не потревожить "ролланда", отцепил шарф от булавки галстука.

ЯНВАРЬ, ПЕРВЫЙ ГОД ДО ОЗАРЕНИЯ, ТАЛЛИН

"Лейда, прости, я снова приходил вчера и снова торчал в палисаднике, и теперь уже ясно, что я ничего не смогу с собой поделаться, что конца этому не будет. Четыре года жизни в разводе сделали то, чего не могли сделать семь лет брака: сердце помнит только тебя, болит только о тебе, до сих пор пустует. Бывает иногда целые недели, особенно в плавании, когда мне начинает казаться, что все прошло, затянун-

лось. Но уж когда это накатывает с такой силой, как вчера, не прийти, не взглянуть на тебя, не постоять хотя бы под окнами — просто не могу. И это в сорок-то лет! Как какой-нибудь юнга-салажонок.

Я ни в чем тебя не упрекаю, ни о чем не прошу, я знаю, что ничего переделать нельзя, ты была кругом права: дети, их испуг, безобразные сцены и драки, которые я устраивал у них на глазах. И нет смысла говорить, что я исправился, что все пойдет по-другому. Ты давала мне шанс доказать это много раз, терпела до последней возможности. И это при том, что сама-то, кажется, не знаешь, при всех своих медицинских дипломах, что это за болезнь такая — ревность. А раз сама не болела (может быть, этот холод, который в тебе всегда остается, никогда не оттаивает до конца, тебя защищает), значит, не можешь представить, как все в глазах делается бело, а в душе и в руках только одно: сокрушить, смять, сделать что-нибудь, чтобы так быть перестало. Нет, этот зверюга не просыпается во мне теперь, когда я встречаю тебя где-нибудь случайно с другим или когда ты возвращаешься домой далеко за полночь, но я знаю, когда он проснется: если ты снова попытаешься выйти замуж. Да, милая, бедная моя: ты можешь влюбляться, можешь куролесить, заводить и менять любовников, но больше ничьей женой, пока я жив, тебе не бывать. Потому что тогда зверь (я знаю) одолеет меня и все сделает моими руками. Но не так, как раньше, — драка, скандал, — а гораздо хуже: продуманно, хладнокровно, наверняка, до самого конца, без жалости, до упора, под белым слепящим светом.

И вот, написав все это, в сущности пригрозив тебе скорым и верным вдовством, я все же решаюсь попросить об одной вещи. Когда ты в следующий раз случайно столкнешься со мной на улице или когда я опять приеду за Олей без предупреждения, сделай что-нибудь со своим лицом, не дай ему снова так исказиться. Улыбнись, кивни, махни рукой — я не воспользуюсь, не побегу к тебе, гордость у меня все-таки еще осталась. Но, может быть, тогда эта пустота, эта боль в сердце не накатит снова так скоро, как она накатывает теперь, как накатила вот сейчас, снова, почти не дав передохнуть".

1

Она прикрыла глаза, откинулась на подушке. Гуд в ногах постепенно утихал, замерзшие ступни снова обретали чувствительность. Две операции за ночную смену — это было бы нормально, но грузчик, которому расплющило ступню в порту (видимо, из бичей, неувертливый) очень тяжело перенес наркоз, и ей пришлось дежурить около него до утра. И потом еще в трамвае продремала свою остановку и бежала чуть не лишний километр назад под январским ветром. А теперь еще очередное послание от Эмиля.

Из кухни долетел посвист чайника, звякнула кастрюлька. Она спустила ноги, подцепила носками шлепанцы — один, другой, — затянула халат. По дороге к дверям машинально глянула в зеркало, и то, что там отразилось, привычно скользнуло в сознании на чашку невидимых весов, перевесило, заставило вернуться назад, пустить в дело тон, тени, пудру, помаду. Лицо начало постепенно приобретать живые черты, проступать сквозь утреннюю отупелость все ярче, как фотоотпечаток под рябью проявителя, но в это время глаз, выглянувший из-под кисточки, встретился с глазом в зеркале, и так они глянули друг на друга, что какие-то другие весы, отведенные для самоиронии и стыда, тоже заколебались, пришли в движение ("как старая кляча при звуке полковой трубы... привычный галоп кокетства..." — и перед кем!), и все это беспорядочное движение и качание весов закончилось нелепым приговором, по которому одно веко оказалось тут же выкрашено голубым, другое — зеленым, тон положен только на левую щеку, помада — только на нижнюю губу, а ресничный карандаш использован для намалевания вульгарной мушки на подбородке. В таком виде она и вышла на кухню.

Илья уже доедал яичницу, оперев раскрытую географию на обломок батона. Не поднимая глаз, он потерся щекой и губами о легшую ему на плечо руку, оставил на ней полоску теплого желтка.

- Олю разбудил?
- Угу.
- Где она?
- Что?
- Где Оля?

- В ванной, наверно.
- Вчера вечером никто мне не звонил?
- Когда?
- Вечером, говорю. Когда я ушла на работу.
- Не знаю... Кажется, нет...

Она выхватила у него учебник, захлопнула, сунула в стоявший на полу портфель.

— Мама!

Он ринулся вслед за книгой, вцепился в ручку, но она вышибла портфель ударом ноги, они оба ринулись за ним в угол, как регбисты, стали вырывать друг у друга. Только тут он поднял глаза на нее — остолбенел, разжал пальцы, стал тихо смеяться.

- За что ты себя так?
- Небольшая клоунада. Цирковой утренник для детей.
- Отдай географию. Меня Ариадна точно вызовет сегодня.
- Не отдам. Все равно уже не надышишься. Говори со мной.

— О чем?

— О чем хочешь. Где был за эту неделю. Кого видел, с кем говорил? С кем дрался, с кем целовался.

Чего уж за неделю? Может, сразу за весь месяц, что ты домой только поспать приходила?

- Расскажи про эту... про Говорову твою...
- Опоздала. Больше не моя.
- Изменила?
- Наоборот. Так висла, что осточертела.
- И кто теперь?
- Мама!
- А что? Что я такого сказала?
- Ничего.
- Нет уж, объясни.

— Ты... ты что — хочешь меня... Ты со мной, как с надоевшим журнальчиком, да? Хочешь перелистать раз в месяц за завтраком? За пятнадцать минут? Проглядеть картинки, оглавление и зашвырнуть на полку, не читая? И не вспоминать до следующего номера?

- А ты думаешь, ты кто уже? Роман? Бестселлер?
- Я — собрание сочинений.
- Наглец.

— И все тома — с неразрезанными страницами.
 — Скорее со склеившимися. Тебя на нормальный разговор раскатать, знаешь, сколько часов нужно?
 — А когда ты в последний раз пыталась? Ну вспомни, вспомни!
 — Ты знаешь — у меня совместительство. Почти все вечера заняты. Деньги надо зарабатывать.
 — И сегодня уйдешь?
 — Угу.
 — Опять в лабораторию?
 — Вроде того.
 — Не верю я тебе.
 — В общем, вечером меня не будет.
 — А я куда? Читать нечего. В кино ничего не идет. И ходить ни к кому неохота. Ну почему, почему тебе надо пропадать каждый вечер? Тебе тошно дома? С нами тебе тошно, да? И за все каникулы ты была дома только один день — из-за бабкиного приступа. А я, дурак, в Ленинград даже не поехал. Отец давно звал, а ты...

Она пошла к нему, протягивая вперед руки, мотая головой, словно разбрызгивала в стороны волны обвинений, начала уже что-то говорить: "Мне сейчас очень нелегко... я не могу пока объяснить тебе все прямо... уверена, ты поймешь, когда узнаешь..." Он шагнул ей навстречу, но вдруг увял, завел глаза к потолку, надул щеки.

Она обернулась.

Оля, уже затянутая в школьное платье с кружевным ошейничком, умытая, причесанная, стояла в дверях и смотрела на них исподлобья. Может быть, оттого, что в лице ее и в манере смотреть было уже так много от Эмиля, это как-то слилось с утренним письмом, утроило обычное чувство вины, привело в полный хаос все внутренние весы, так что Лейда покраснела, будто пойманная на чем-то постыдном, развернулась на девяносто градусов и, не опуская рук и чувствуя себя уже настоящей участницей какой-то клоунады, но изо всех сил удерживая на лице и в голосе ту же нежность, которая предназначалась сыну, пошла обнимать дочь. Илья фыркнул, выдернул из портфеля географию и ушел к себе.

Все же ее еще хватило на то, чтобы в последний момент чем-то рассмешить их и отправить в школу хихикающими. Но на

это ушли последние капли. Поэтому, когда проснувшись бабка Наталья высунулась на свое несчастье в коридор с очередной порцией страхов — "на соседней улице стройка... опасные леса... детям надо было идти в школу другой дорогой... надо было им сказать..." — она встала перед ней, подняв палец, и прошипела:

— Мама, ты, наверно, и к Харону будешь приставать с чем-нибудь подобным: да прочна ли ладья? Да знает ли он фарватер Стикса? Да туда ли плывет?

Потом ушла к себе, ринулась под одеяло и попыталась излить все утреннее ожесточение и недовольство собой в сдавленном вскрике: глухо, слезливо, в прижатую к губам подушку.

2

Три отбивных, одна за другой, с шипением плюхнулись на горячую черную решетку. Столбик ароматного дыма поднялся над ними, скользнул в широкий зев медного короба под потолком. В головах финских дизайнеров, проектировавших гриль-бар в гостинице "Выру", видимо, еще плавали смутные представления о сказочных варяжских пирах, на которых жарились целиком бычки и медвежьи туши — так жадно, на полпотолка был распахнут этот короб. Алый колпак барменши уплыл на минуту за винную витрину, рассыпался там на тысячу алых граненых пятнышек, возник снова, уже с другой стороны, и поднос с графином и салатами мягко проехал по стойке навстречу протянутым рукам.

Павлик сглотнул слюну, бережно перенес поднос к столу.

— Ну не садизм ли это — жарить мясо прямо вот так, открыто, на глазах у публики? Северное, веками отработанное искусство самоистязаний. И ведь сауна ихняя тут внизу — на том же принципе. Довести тело до изнеможения, до лопанья сосудов, до полной нестерпимости — и тем самым превратить какой-нибудь заурядный ушат холодной воды в источник неземного блаженства.

— Вы уверены, что одолеете и курицу? — засмеялась Лейда.
 — Еще не поздно отказаться.

— Отказаться? Да вы посмотрите на нее, как она там вращается, капая розовым жирком. На эту пупырчатую кожу,

на непристойно распяленные лапки. А теперь посмотрите на меня — нет, без иронии вашей обычной, а с чисто научно-биологическо-энергетической точки зрения. Сколько топлива, по-вашему, нужно такому паровозу, как я? А-а? То-то и оно.

Он не без самодовольства охлопал бока, живот, разгладил чащобу бороды по мелькающим вязаным оленям, потом взялся за вино.

— Я, милая Лейда, предлагаю сейчас выпить первым делом не за встречу, которая, к сожалению, опять должна быть такой короткой — завтра — назад, в Москву — и не за здоровье, за него будем пить весь вечер, а за самое сильное чувство, пережитое вами, мною за истекший год. Как, согласны?

Она на секунду задумалась, припоминая, вслушиваясь в шевеление внутренних весов, усмехнулась, сделала гримаску, (Илья называл ее "щука, выбирающая между двумя плотвичками" — нижняя губа выпячена, глаза скошены влево и вниз), но все же послушно подняла бокал и выпила.

— Вы про свое можете не рассказывать, если не захотите, а я про свое расскажу. У меня в этом году сильнее всего — до ожога прямо — вспыхивала, не осуждайте, зависть. Один раз это случилось летом. Работали мы в Заонежье и провели несколько дней там на самом берегу озера, на маяке. Пусто, безлюдно, только маячник с женой, и на тридцать километров кругом — никого. Ни дорог, ни жилья. Пара молодая, еще бездетная. Как они круглый год там одни, — это у меня в голове не укладывается. На мотоцикле как-то до магазина пробираются, или буксир раз в месяц подвезет им чего-нибудь — и все. И вот однажды выходим мы, как обычно, рано утром в лес на замеры, видим жена сидит у воды на песке, картинку палочкой рисует. "Ты чего здесь одна?" — "А Толя в поселок уехавши". — "И что?" — "Вот, жду его". — "Так он, может, до вечера не вернется?". — "Может, может". Сказала, будто нас успокоить хотела. Ушли мы, к вечеру возвращаемся: сидит все на том же месте, а кругом весь песок — в зверях, цветах, человечках нарисованных. А Толя-то ее только на следующий день заявился. И устроил ей трепку за то, что огород не полот, окна не покрашены, грибы не насушены.

Он поймал ее вопросительный взгляд и замотал головой.

— Ему? Остолопу этому? За то, что его так ждут? Никогда. Ей — ей я позавидовал. Заиметь что-то такое в груди — даже

не обязательно любовь, — чтобы вот так ничего другого не было нужно, чтобы можно было просидеть день на песке, рисуя человечков, или год, и другой, и третий жить без людей, посреди черного ветра и чтоб глаза кругом видели только рыб и птиц...

Подброшенные сверкающей лопаточкой отбивные одна за другой совершили над дымящейся решеткой положенное им сальто. Барменша перешла к прозрачной духовке, выбрала среди вращающихся на вертелах ("да-да, вот эту", — заплотировал издали Павлик) самую созревшую курицу и украсила ее двумя плюмажами из петрушки. И дальше то ли подгадала, то ли незаметно включила, то ли случайно так совпало, но музыка танго грянула как раз к моменту передачи блюда из рук в руки.

— Так вот, эта зависть была вторая, — говорил Павлик, разделявая плюмажную красотку большим охотничьим ножом. А первая была еще тогда, весной, когда я увидел вас на скачках. Ух как я вам тогда позавидовал.

— Мне?

— Потому что и в вас было тогда что-то такое же — затаенность, завлеченность собой, занятость чем-то важным и глубоким посреди суетящейся толпы, погруженность в себя...

— О да, завлеченность... Поисками трешки в подкладке кармана... Я, кажется, к тому времени уже рублей пятнадцать просадила.

— А помните того толстяка, который жену пытался оттащить от окошка кассы? Которая еще кричала, что на сына Аэрофлота и Валькирии она последнюю десятку поставит и никто ее не остановит.

— Помню. Только это опасное дело.

— Какое?

— Нам предаться воспоминаниям. С одного дня не наскрест на разговор.

Он застыл, запустив крепкие зубы в куриную ногу, с выражением восхищения и ожидания, как у пса, почувшего начало игры, пытающегося за секунду угадать, куда хозяйка задумала бросить резиновое кольцо. И дальше на протяжении всего обеда, доедая свою половину курицы, а за ней и отбивные, заказывая вторую бутылку вина, запивая пирожные крепким кофе и снова возвращаясь к оставленному было

картофельному салату, он с такой же преданной улыбкой кидался за этим разговорным кольцом, куда бы она его ни бросала: экспедиция? о да, всякого повидал — камчатские вулканы, ловля хариуса на Ангаре, тучи слепней в карельских лесах; московская жизнь? — сандуновские бани, театр на Таганке, сертификатные "Березки", толпы приезжих из провинции, идущие в утренней мгле от вокзалов на штурм магазинов, лимузины, посольства, церквушки, пощаженные ради причуд иностранных туристов; семья — да, женат, да, есть дочь, и его родители тоже живут вместе с ними, квартира старая, большая, еще дед с бабкой жили, и отца не уговорить теперь разменяться и разъехаться, так и мучаем друг друга беспросветно, уже до отдельных электросчетчиков дошло.

От возбуждения, от размашистости жестов он стал казаться еще больше, так что люди за соседними столиками время от времени отвлекались от накатанного спектакля с жаровнями и бутылками, даваемого барменшей в алом колпаке, оглядывались на них.

— А теперь — мой сюрприз, — сказал он, когда они поднялись к нему в гостиничный номер.

Он заставил ее встать лицом к окну, смотреть на темнеющие улицы Старого города, уходящие вверх к остаткам крепостной стены, на подсвеченные снизу башни, на шевелящиеся шеи кранов далеко в порту. Она слышала за спиной какую-то возню, щелкнул замок открываемого чемодана — "нет, не пора еще, не пора", — потом другой, более слабый щелчок, и вот над ровным шумом нагретого воздуха в вентиляционных решетках, над долетавшим снизу дребезжанием трамваев возник хрипловатый мужской голос, певший под барабанный перестук и звяканье бубна непонятную песню, выкрикавший что-то, рычавший, заклинавший, рыдавший.

Она повернулась от окна, с изумленной и недоверчивой улыбкой уставилась на мерцавший на столе кассетный магнитофон. Павлик, скрестив руки на груди, упивался эффектом.

— Шаман Дима, яркий представитель народа коми. Поет, изгоняя злых духов из колена своего отца. Думаю, злого духа зовут Рев-Ма-Тизм. Кроме пения и бубна, применял сжигание оленьей шерсти, бросание пепла на четыре стороны, надрезание собственной щеки ножом, капанье крови в огонь, плевки себе под ноги и отцу в ухо (с особым старанием) и прочие достижения многовековой народной медицины. Разрешил мне

присутствовать за бутылку водки и две коробки патронов. Вся пленка длиной около часа.

— Павлик, Павлик! Это такой восторг, такой подарок, — бормотала Лейда, обходя стол, протягивая руки, охватывая его шею, укладываясь осторожно по косоуглу его живота, но при этом не отрывая восторженного взгляда от завывающего магнитофона. — Я ведь мельком обмолвилась... один, кажется, раз только... что вот хорошо бы... из древних обычаев... медицинские приемы... и вы запомнили...

Он осторожно погладил ее по спине, не позволяя своим рукам сомкнуться, как бы давая ей возможность в любой момент закончить с обрядом благодарности и отойти. Но нет — она стояла все так же прильнув к нему, полуприкрыв глаза, подпевая негромко воющему шаману.

— Запомнил... Еще бы мне вас не запомнить... У вас лицо тогда было, там на ипподроме... как на уцелевшей фреске... Знаете, бывают старинные, сильно поврежденные росписи, фрески... все потрескалось, штукатурка отваливается, и только в одном каком-нибудь месте фигура или ваза, или рука — абсолютно целые, идеально сохранившиеся... Так и вы... У вас у одной во всей толпе было лицо вот именно такое — не разрушенное, цельное...

Она приподнялась на носках, поцеловала его в щеку и снова прилегла на грудь.

— А я... Ну что говорить... Знаете, как это бывает... В чужом городе, приезжаешь всегда немного кум королю... И как бы надо погулять, не упустить момент... Так что и глазами посильнее вертишь, и ноздри раздуваешь... И тут не дай Бог напороться на такое лицо, как у вас... С этим взглядом раздевающим... Да-да, не прикидывайтесь овечкой... И сразу чувствуешь себя, как петух, облитый холодным дождем, видишь себя со стороны: обычный командировочный жох, каких каждый день завозят в любой город тысячами на поездах и в самолетах... И первая мысль: "Ну ладно же! Погоди у меня, я тебе докажу!"

— ...что значит "не надо ничего доказывать"? Нет, я могу снять свитер, действительно жарко... Снять — не проблема, но все же я хочу договорить вот об этом, как это взвинчивало меня все эти месяцы, — что поеду снова в Таллин и увижу вас и подарю пленочку-сюрприз... Все же пригласу немного, очень уж воет... Зачем она вам? У вас уже, должно быть.

изрядная коллекция... Сколько народу вам привозило, наверно...

— Нет, вот об этом, конечно, не мечтал, что мы сумеем это так быстро... с такой скоростью пересечь море-окиян под названием Незнакомость, перевалить через гору Первый Поцелуй и прыгнуть с ходу — куда?...

— Раздевание — значит, ближе всего — пляж...

— ...черт, никогда не встречал таких застезек... Не для моих пальцев... Ага, понял...

— ...а на следующий год я поеду на Памир, найду там буддийский монастырь и сниму для тебя фильм про йогов... Которые простыни в прорубь окунают и тут же на голых спинах сушат... Соревнуются, кто больше... Они как-то умеют всю кровь перегонять куда захотят, по заказу, и спина делается, как печка, горит, прямо, как я сейчас... Да, можно, конечно, только с молнией там поосторожней... она с капризом... особенно после такого обеда... О черт! Черт! Черт! Я же говорил!

Он оторвался от нее, отбежал в сторону, вытащил свой охотничий нож, щелкнул лезвием и — она слегка взвизгнула — сунул его себе в живот. Раздался треск испаряемой материи — брюки свалились на пол. Он перешагнул через кучу валявшейся одежды, обнял ее за голые плечи и, обмирая от смеха и нежности, повел в темноте, на ощупь к чему-то складному, раздвижному, субтильно-импортному, но принявшему их на себя с нежданной финской стойкостью — без скрипа — и помчавшему через пороги, водопады, воронки, крутые повороты, нарастающий шум, пока не выбросило, мокрых и задыхающихся — сначала ее, потом его — туда же, к началу круговерти, в полутемный гостиничный номер.

—...Вот ты предлагал выпить за самое сильное чувство в этом году и, знаешь, я замешкалась, не захотела, потому что впервые поняла, что сильнее и дольше всего я чувствовала с т р а х . Да, вот так... Раньше была совсем смелая, а в этом году они, кажется, меня одолели... Ну, они... эти — из-за которых я не разрешала тебе ни писать, ни звонить... Которые все видят, все знают... Все да не все...

— ...Нет, ничего подсудного я еще не сделала, но чем-то очень им не нравлюсь... Наверно тем, что бегаю и прячусь довольно ловко, когда мне очень нужно... Да правда же, ничего.

Ну, встретила на какой-то конференции с коллегой-иностранцем, разговорились, потом переписывались... Потом письма стали пропадать. Я пыталась Чарльзу втолковать, чтоб не доверял очень бумаге, но он из этих — из розовых и наивных. Нет, про лагеря, чистки и террор он слышал, верит, что так и было. Но чтобы тайна переписки не охранялась законом, — в это же поверить невозможно. Может, он и продолжает писать, да пишет что-нибудь такое, из-за чего они стали теперь за мной таскаться повсюду... Вот уже полгода не могу от них избавиться...

— ...Из института я ушла, ничем таким больше не занимаюсь, работаю тихо в больнице. Пленка с шаманом?.. На будущее, может, когда-нибудь вернусь к одной завиральной идее, на которую Чарльз так загорелся... Нет, в институт обратно не пойду. Потому что, если идея подтвердится (шансы — один из ста), не хочу, чтобы она им в лапы попала. И больше всего не хочу, чтобы они про тебя узнали. Поэтому так грубо тогда по телефону оборвала, когда ты хотел назвать себя, — прости. И еще я хочу..,

— Подожди минуту.

— Да?

— Я что-то плохо соображаю.

— Объяснить сначала?

— Попозже.

— Почему не сейчас?

— Потому что все равно не пойму... Потому что я снова поплыл...

Во второй раз пороги оказались еще круче, воронки — стремительнее, водопады — безжалостнее, и весь круговертный путь отнял еще больше времени и сил.

— ...Так что ты говоришь про этих, всезнающих?

— Я не хочу, чтобы они узнали про тебя, про нас с тобой.

— Думаешь, еще не знают?

— Только по телефонным звонкам из автомата. Но ни фамилии, ни адреса. И по дороге сюда я опять сумела оторваться. Так что умоляю тебя: не фанфаронь, не говори, что ты их не боишься и в гробу видал, не лезь на рожон.

— Меня тоже однажды туда вызывали. Не на допрос, а вроде консультантом. Вроде по месторождениям золота секретная информация стала просачиваться, и надо им было на-

щупать где. Все с полным уважением, почтительно встретили, даже льстиво. А все равно ощущение, будто не в полный рост к ним входишь, а ползком. Тошнота потом — на неделю. Пока живешь нормально, вроде и знаешь про них, а все как будто и не касаешься. Но когда вот так столкнешься, — ох, руки начинают чесаться.

— Не поддавайся. Держи себя. Хотя бы для того, чтобы помочь мне, когда понадобится. У меня уже никого не осталось, ни одного близкого человека, про которого они бы не знали.

— А-а.

— Что случилось?

— Я сказал — все понял.

— Что именно?

— Что тебе просто понадобился близкий человек. Помощник. Близкий человек из далекого города.

— Ну вот и хорошо. Вот ты и нашел ответ на мучивший тебя все это время вопрос: "Как она могла так быстро? Зачем я ей понадобился?"

— Но ведь не за прекрасные же мои глаза, не за стройную фигуру.

— Ах! Только за них, милый, только за них!

— Если бы ты с самого начала сказала, что тебе нужна помощь...

— ...ты бы с радостью согласился. А теперь ты чувствуешь себя оскорбленным в нежных чувствах и готов с благородным гневом удалиться?

— От тебя удалишься, как же.

— О, представляю, как мило это прозвучало бы: "Дорогой, я готова подняться с тобой в номер и уступить твоим гнусным желаниям на пятом раунде приличествующей случаю возни. Но как честная женщина должна предупредить, что за порогом нас поджидает свора шпигов и у тебя могут быть серьезные неприятности". Тогда-то уж тебе точно деваться было бы некуда — должен был бы соблазнить меня как честный человек. Из одного лишь самолюбия. Сжав зубы и выпятив смелый подбородок.

— Не в том дело...

— В том, милый, в том. Но уже по дороге домой, в поезде, ты разглядишь, что у нас просто не было времени на все это дивное плавание. Так уж обернулось — не сердись. С дол-

гим ухаживанием, с цветами, с поцелуями в парадной, с витиеватыми историями, сочиняемыми для жены, с отстирыванием помады с рубашки — все это не для нас. Да и не так уж все вдруг. Ты ведь помнил обо мне все эти месяцы, — значит, плыл. И я ведь в первую же секунду узнала твой голос по телефону, так что успела приказать тебе заткнуться и не называть себя, — значит, ты тоже где-то уже жил во мне.

Она приподняла одеяло, оперлась на локоть. Потом взяла в ладони его лицо.

— Но вообще-то я не могу тебе выразить, как я люблю долгое-долгое плавание друг к другу. И когда-нибудь, если судьба позволит, я заставлю тебя проделать все-все с самого начала. Чтобы были письма и свидания. Телефонные звонки и ссоры. Ревность и страхи. Волшебные поездки вместе на море и стыдные свиданки в одолженной на ночь комнате. Где соседи стучат в дверь и грозят товарищеским судом в жилконторе и фотографией на стенде "Они мешают нам жить". Не знаю еще, стану ли я уводить тебя от семьи, но в чувстве вины ты будешь у меня купаться, как в кипятке.

— Я уже в нем по горло. Как подумаю, что завтра уеду, а ты останешься одна, бегать от этой собачьей своры...

— Ничего. Дела мои еще не так плохи.

— ...И я ничем не смогу тебе помочь.

— Сможешь, сможешь. Уже прямо сейчас. Увидишь, это не так сложно. Эпизод будет называться: "Исчезновение из гостиницы".

3

Он оказался очень послушным, толковым, будто все это было ему не впервой. Одевшись и спустившись в вестибюль, не спеша побродил по нему, снова вернулся к лифту — вверх, опять вниз, — и, только убедившись, что ни маленького человечка со щеточкой усов, ни большого добродушного блондина нет поблизости и ничьего подозрительного интереса его блуждания не вызывают, вышел на улицу. Такси взял, пройдя несколько кварталов. Подъехал обратно к гостинице — к боковому выходу.

Она выскользнула из дверей и небрежной походкой — лакированные туфли оскальзываются на ледяных проплешинах,

лись папах надвинута на глаза — дамочка в поисках развлечений — прошла по невидимой касательной к кругу фонарного света, нырнула в машину. Целовались на заднем сиденье с такой страстью, что женщина-шофер, заглядевшись в зеркальце, чуть не въехала в жующую пасть снегоуборочного комбайна. Но тут сюжет был разрушен — она заставила его остановить машину и выйти. Вышла за ним только для того, чтобы поцеловать в последний раз, оставить номер почты, куда ей можно писать до востребования, и ошарашить очередной просьбой: во время стоянки поезда в Пскове выйти и попробовать осторожно разузнать, что стало с прежним начальником тамошней железнодорожной милиции.

Потом она некоторое время смотрела через заднее стекло, как он отплывает назад, стоя в распахнутой дубленке (стада вязаных оленей пасутся на склонах), рука поднята, улыбка блестит в бороде, как вода в лесном колодце.

Потом ехала все дальше от центра, по темным улицам, тоже улыбаясь, вслушиваясь в странный покой, наступивший вдруг в мире вечно колеблющихся и скрежещущих внутренних весов.

Потом отпустила машину неподалеку от старого вокзала, вошла в аккуратный деревянный домик с двумя светящимися окошками, но вскоре вышла оттуда в другом пальто, в высоких сапогах, в цветастом платке.

Долго ехала обратно на троллейбусе, время от времени запуская руку в сумку, чтобы лишний раз убедиться — пленку с шаманом оставила в домике, в тайнике.

Устало добрела от остановки до своего дома.

Все же остановилась у почтового ящика в парадном, порылась в его жестяной холодной утробе.

И сама не могла понять потом, чего испугалась больше — шагов за спиной или собственного сдавленного вскрика, взлетевшего к пыльному лестничному плафону.

ФЕВРАЛЬ, ПЕРВЫЙ ГОД ДО ОЗАРЕНИЯ, ПАРИЖ

1

Вот уж чего Джерри Ньюдрайв никогда не стеснялся, — это выглядеть в Европе американцем. В самолете он с през-

рением посматривал на соотечественников, выдававших свое подобострастие перед Старым Светом то английским галстуком, то финскими башмаками (из которых торчали купленные в "Сирсе" носки), то какой-нибудь сумочкой с тиснеными по коже французскими лилиями и, наверно, со спрятанным внутри ярлычком: "Made in Taiwan". И хотя не было ничего демонстративного в том, что он вертел перед носом таможенника в Орли свежим номером "Ньюсвика", и в том, что закурил сигару (вместо обычных сигарет), и в том, что в конторе проката машин взял не рено, не фиат, не фольксваген, а нормальный плимут с автоматической передачей, но, тем не менее, все эти заурядные действия наполняли его какой-то патриотической приподнятостью.

Он бывал в Париже не однажды, но в этот раз надо было ехать куда-то в пригород. Пришлось минут пять посидеть над выданной ему еще в Нью-Йорке картой, укладывая в голове все нужные повороты и съезды с шоссе. Он очень гордился тем небольшим компьютером, спрятанным у него (как ему казалось) отдельно от остального мозга, где-то в нижней части затылка, куда любую нужную информацию он мог ввести наподобие перфоленты и больше уже не беспокоиться, — дальше компьютер сам слал команды-импульсы, передававшиеся рукам, ногам, глазам — рулю, педалям, мигалкам, тормозам. Голова оставалась свободной, и можно было еще раз все обдумать, освежить в памяти сведения о человеке, которого ему предстояло — в трудных случаях он называл это "взломать", "расколоть", "вспороть", но вначале предпочитал более мягкое слово — "отпереть".

Русский. Лет под шестьдесят. Попал на Запад совсем юнцом — из немецкого плена в конце Большой войны. Хватило ума не рваться назад, из гитлеровских лагерей в сталинские. Пускался в какой-то полузаконный бизнес, но не попался, сколотил небольшой капиталец, купил участок земли под Парижем — тогда еще задешево. Завел парниковое хозяйство — овощи, ягоды, цветы. То ли после этого, то ли еще до — принял сан православного священника. Но вскоре за еретические проповеди был сана лишен и стал сектантом. Бабушка Джерри была родом из Винницы и накануне поездки внука подсказала ему это трудное слово: "поп-расстрига". Хотя и не советовала использовать его в разговоре. И так, поп-расстрига вы-

строил на своем участке часовенку и в свободное от огородничества время продолжал смущать православные души. Женился. Попадья (другое трудное слово) оказалась весьма хваткой хозяйкой, так что отец Аверьян (так звали еретика) получил еще больше досуга для проповедничества. Главная идея: воскрешение по божьему наказу и с Божьей помощью сынами — умерших отцов. Или предков — потомками. Паства у него была небольшая, но преданная, приезжали и парижане, и русские из других городов.

Потом разразился скандал. Муниципалитет Парижа решил строить больницу. Часовня и дом попадали в черту застройки. Отцу Аверьяну предложили дом и участок в другом пригороде — со значительными улучшениями. Плюс покрытие расходов на переезд. Он отказался. Муниципалитет передал дело в суд, выиграл и прислал полицейских с приказом о выселении. Отец Аверьян забаррикадировал двери и окна, вылез на крышу и стал красить ее в зеленый цвет с такой энергией и размахом, что большая часть краски почему-то не попадала на кровельное железо, а разлеталась на осаждавших. ("Но вы не можете запретить человеку красить крышу своего дома, — говорил впоследствии на суде адвокат, — в тот момент и в той манере, какие он сочтет для себя наиболее удобными"). Пятнистые, ставшие похожими на командос полицейские штурмом взяли аверьянову дом-крепость и в пятнистой, оставлявшей зеленые потеки машине увезли его в тюрьму.

В тот же день энергичная попадья обзвонила все газеты, и, как ни странно, история показалась лакомым куском для самых разных политических групп. Консерваторы увидели в ней нарушение священного права собственности. Левые — самоуправство и жестокость полиции. Либералы — ущемление прав национальных меньшинств. Клерикалы — покушение на свободу вероисповедания. Поднялся невероятный шум. О больных, ждущих своей очереди на место в больнице, никто не вспоминал. Фотография отца Аверьяна с Библией в одной руке и корзиной огурцов в другой мелькала на экранах миллионов телевизоров. После двух недель борьбы муниципалитет вынужден был отступить. Строительство больницы начали где-то в другом месте.

Вся эта десятилетней давности шумиха была кем-то разно-

хана, восстановлена, превращена в несколько страниц аккуратной машинописи и вручена Джерри Ньюдрайву на 28-ом этаже главного здания правления гигантской корпорации Ай-Си-Ди, куда он был вызван для личной встречи с членом совета директоров — управляющим зарубежными отделениями. И в дополнение к рапорту, совершенно конфиденциально, у окна, за которым туманный Гудзон далеко внизу с трудом протискивался между опорами моста Джорджа Вашингтона, ему было объявлено, что в будущем году в полумиле от участка попа-огородника начнется строительство шоссе, что тем самым эти несколько акров пригодной для застройки земли (муниципалитет выбирал со знанием дела) превращаются в идеальное место для давно запланированного сборочного завода Ай-Си-Ди под Парижем, что прилегающие участки уже скуплены через подставных лиц, но без аверьяновского клочка сделка не имеет смысла, потому что, как в узких Фермопилах ("Вы слышали о Фермопилах, мистер Ньюдрайв?" — "Сэр, я прорывался через них много раз, туда и обратно, ха-ха") , между ручьем в овраге и старинным монастырем ("Вы же знаете, в Европе скорее вернуться к пахоте на лошадях, чем дадут снести какую-нибудь архаичную развалину") часовенка с православным крестом перекрывает единственный возможный выезд к будущему шоссе и что это даже трудно вообразить, как далеко вверх может шагнуть доверенный представитель Ай-Си-Ди, который сумеет обойти старого фанатика ("Да, похоже, что деньгами его не соблазнить, попытки делались") и вырвать для компании эту жалкую полоску земли, преградившую путь к новым миллиардам.

Джерри хотелось верить, что он был выбран не только за знание русского и французского. И не за то, что бабушка из Винницы делала его как бы отчасти европейцем. Он надеялся, что его стиль, его особый подход был наконец замечен и оценен наверху. Несколько раз уже удавалось ему прорваться через довольно узкие торгово-финансовые "фермопильчики" там, где другим коммивояжерам оказалось не под силу.

Правда, сам он не очень распространялся о своих приемах, чувствуя в них некоторые сомнительные оттенки. Ибо оригинальность их состояла в том, что, раскрывая перед очеред-

ным клиентом каталоги, он начинал говорить о продукции Ай-Си-Ди как бы с едва сдерживаемым презрением и брезгливостью. ("Вам понравилась эта модель? Сэр, не хочу вас обманывать — это один из наших главных позоров. Полное фиаско. Но это строго между нами. Как можно сбывать покупателям подобную труху, — ума не приложу. Только вы уж не выдавайте меня. По правде сказать, если вам нужна аппаратура этого типа, взгляните на страницу 37. Тоже не блеск, но по крайней мере будет работать. И цена процентов на тридцать ниже того, что есть сейчас на рынке".) После подобного самообливания помоями клиент располагался таким доверием, что через полчаса удавалось сбывать самые залежалые и неходовые приборы.

Время от времени Джерри использовал и другие приемы, дозировал их в разных комбинациях. Главное же — у него были и де и. И был индивидуальный подход. Поэтому и сейчас, кося глазом в карту, выбираясь из переплетения деревенских дорог, проезжая мимо монастырской стены, ветхие камни которой, казалось, удерживались друг на друге только цепкими сетями облепившего ее плюща, сворачивая на подмерзший гравий въезда, поднимавшегося вверх к домику с зеленой крышей и с пристроенной сбоку часовней, он не столько планировал заранее предстоящую атаку, сколько подтягивал резервы своих идей, выстраивая их в боевой готовности, чтобы затем, следуя вспышке вдохновения (вдохновение-то и было главным ключом к загадке его побед), выбрать наиболее подходящую, безотказную. И тогда — десант, высадка с моря и с воздуха, ракеты земля-земля, воздух-земля, море-земля! Чья земля? Наша земля! Всесильной Ай-Си-Ди! И новый сборочный завод на ней! И кто в нем директором? Как знать, как знать...

За домом блеснула стеклянная стена оранжереи. Потом выдвинулся розовый бок автофургончика — задняя дверца открыта и почти уперта в ступени крыльца. "Сладкие, незапретные плоды ЭДЕМА". Из-под синих строк французской надписи, как из-под косо отодвинутого занавеса, выглядывали две смеющиеся головы (Адам и Ева до грехопадения?), нацелившиеся впиться зубами с обеих сторон в огромный помидор. Средних лет дама в платке и потертой дубленке грузила в фургончик ящики с клубникой.

— Можно помочь?

Подходя к фургону, Джерри старался потверже ударять подошвами о землю, хотя и без этого, конечно же, женщина не могла не слышать его, — хотя бы по шуму подъезжающей машины.

— Можно помочь? — повторил он, переходя с французского на русский.

Женщина глянула на него сквозь очки, суховато улыбнулась и повела рукой — сначала в сторону его светлого пальто, потом — в сторону угрожающе сочащихся ягод.

— О, это пустяки.

Он поднялся по ступеням и ухватился за ручки верхнего ящика. Женщина помедлила, потом кивнула, перешла в ароматный сумрак фургона и стала принимать у него ящики один за другим, укладывая их в глубине на специальных полках, также не произнося ни слова. Вдруг распрямилась и помахала кому-то.

Он оглянулся.

Первое впечатление было: старик, стоявший в дверях оранжереи, чем-то очень разгневан, хотя поза его была абсолютно спокойной, седая бородка мирно стекала на рабочий халат, а в руках он держал какие-то уж символически мирные предметы — ведро с нарезанными гвоздиками и пучок (пародия на молнии?) зеленого лука, — впечатление разгневанности не проходило. Потом Джерри понял: цвет лица. Не старческий румянец, не склеротическая сеть жилок, вырывающаяся на поверхность под напором алкоголя, а та сплошная краснота, которой тонкая и нежная кожа отзывается на солнечный жар. Или на жар, идущий изнутри. И даже вопросительно-приветливая улыбка не заслоняла этого ощущения разгневанности.

— Мистер отец Аверьян? Меня зовут Джерри Ньюдрайв. Сегодня утром прилетел из Нью-Йорка. Без предупреждения, простите. Но очень нужно с вами поговорить. Хотя бы полчаса. Правда, если это неудобно, могу приехать и завтра.

Отец Аверьян поднял руку с луковым пучком, сдвинул щечкой рукав халата, глунул на часы.

— Нет, ничего, ничего. Время еще есть. Вот только матушку снарядим в дорогу и поговорим.

Он передал Джерри гвоздики и лук, снова ушел в оранжерею и выкатил тележку цветочной рассады. Втроем они быст-

ро закончили погрузку. "Матушка", вылезая из фургона, вручила Джерри плату за труд — гвоздику и клубничину размером в яйцо.

— Ирина, я так думаю, если Жорес заплатит сразу, ты, пожалуй, заправься бензином на обратном пути. Только не у Пертье — он воду подмешивает, это уже точно. А там, за железной дорогой есть бензоколонка поменьше, — знаешь?

Попадья Ирина взяла его за запястье и вопросительно постучала ногтем по циферблату часов.

— Ну ничего, они подождут тебя на вокзале минут десять. Я без вас не начну.

Голос у него был мягкий и тонкий, в паузах между словами взбулькивавший иногда глуховатым смешком. Подставив перегнувшейся из-за руля жене щеку для прощального поцелуя, он осенил крестным знамением мотор, колеса, выхлопную трубу и потом — с особенным чувством — кабину.

Фургончик покатился вниз, и красный помидор на задней дверце запрыгал, уворачиваясь от еще невинных, но острых зубов Адама и Евы.

Джерри с наслаждением высосал остатки клубничины из зеленой шапочки черенка.

— В жизни не пробовал таких ягод. Вы их, наверно, каким-нибудь сиропом прямо на корню поливаете. Со сбытом, я думаю, проблем нет?

— Раньше было лучше, — сказал отец Аверьян, ведя его к дому мимо аккуратной длинной поленницы, потирая заходящую на ветру красную лысину. — Сами возили прямо в Париж, в очень дорогие отели. А теперь, когда бензин стал дороже молока, — приходится через посредника. Но мне, по правде говоря, и спокойнее: матушка доедет до станции минут за пятнадцать, сдаст товар, и назад. Никаких этих хайвеев с ополоумевшими грузовиками.

— Но прямого шоссе к вам еще нет? Я все кишки растряс, пока доехал.

— Нет, до сих пор нет. Обещают, правда, но все это, знаете, — вилами по воде писано.

Они вошли в гостиную. Низкий потолок, четыре медные лампы подвешены на цепочках в четырех углах, икона с распятием подсвечена не лампадой, а крошечным прожектором, спрятым где-то за книжным стеллажом. Пока отец Аверьян мыл на кухне руки, компьютер в голове Джерри заправ-

лялся новыми сведениями: книги, наваленные на столе, — на русском, французском, немецком; то же самое и журналы, и какие! — и физика, и биология, и астрономия; за стеклами шкафов тома выстроены аккуратно, но без оглядки на декоративность — золоченый переплет рядом с драной брошюрой, если того требует неведомая система; фотография смеющейся девицы, повисшей на плечах попа и попадьи, — должно быть, дочь; за занавесями на окнах видны раздвижные железные решетки; окна выходят — на юг? на запад? Да не все ли равно?! На запад, на запад — грузи все подряд, там разберемся, нужно или нет.

Отец Аверьян, уже переодевшийся в черную рясу, вынес из кухни поднос со стаканами: молоко, пиво, яблочный сидр. На выбор.

— Ну так что же заставило вас лететь ко мне через океан, мистер Ньюдрайв?

Вдохновение, как Наполеон при Ватерлоо, все еще колебалось в выборе направления главного удара.

— Видите ли, мистер батюшка Аверьян, я в большом затруднении. Честно вам сказать, и эту поездку, и это поручение я не полюбил с самого начала.

Белые брови чуть приподняли морщины на красном лбу. Старик реагировал вполне нормально, по-человечески, помирски. Похоже, можно было наступать по обычной схеме.

— Они мне все рассказали про вас: и как вам предлагали в свое время лучший дом и лучший участок, и как вы отказались, и как приехала полиция, и как вы отбивались, и какой шум подняли газеты. И я сказал себе: "Если человек, да еще духовного сана, готов идти в тюрьму за свой клочок земли, значит, у него есть на это очень серьезные причины. И не тебе, Джерри-бой, его переубедить. Но не мог же я прямо так отказать — вы понимаете? Вся моя карьера в Ай-Си-Ди пошла бы прахом. Двенадцать лет карабканья, усилий, изворачиваний, лизания важных задниц. Вот я и решил: поеду для вида, посмотрю заодно Париж, а с мистером батюшкой-расстригой хитрить не буду: все начистоту. А вернусь, скажу: уперся старый — извините — хрен, и ни в какую. Но если повезет, если он меня не спустит с лестницы (как надо бы сделать) и если для него это не какая-то личная тайна, может быть, он откроет причины, по которым отказывается от полумиллиона долларов. И почему знать, может быть, эти причины будут по-

нятны даже для наших тупиц из зарубежного отдела, почему-то загоревшихся купить ваш участок.

Последнее слово, выскользнув изо рта, так и оставило его приоткрытым. Голова свесилась набок, чубу позволено было упасть на лоб: само прямодушие, открытость, заокеанская наивность на грани глупости.

— Никаких тайн, мистер Ньюдрайв, никаких тайн. Но, с другой стороны, я понимаю, что причины мои мало кому могут показаться уважительными. Поэтому и не люблю рассказывать о них.

Отец Аверьян не спеша расчищал стол, раскладывал книги в стопки, нежно подталкивал, выравнивая по корешкам.

— Все дело в том, что мне было видение. Во сне.

Где-то в подвале автоматический регулятор включил мазутную печь, и вода в отопительных трубах послушно зажурчала, пошла по своему черному круговороту, наполняя дом теплом и едва заметной позвякивающей дрожью.

— Увы, — не ангел, не серафим, не Пресвятая дева. Видимо, не сподобился. Был мне послан всего лишь заурядный немолодой господин, довольно усталый, неприветливый и брюзгливый.

— Но вы сразу поняли, что он был послан? Послан именно к вам?

— Не сразу, конечно. Он так не подходил по виду... Наступал канун Рождества, снег... На нем был какой-то плащик с меховой пристежкой изнутри... Зеленые шерстяные наушники из-под шляпы... Старый рыжий портфель...

— Но хотя бы какое-нибудь сияние? Такое светящееся фрисби над головой, как на старых картинах?

— ...И он был очень неприветлив. Как кредитор или сборщик налогов. Достал какие-то бумаги, велел подписать. Я понял, что это было обязательство — построить часовню и проповедовать. Именно на этом месте. Рядом с моим домом. И никуда отсюда не уезжать, чтобы меня всегда можно было найти. "Вот я, Господи..." Я подписал. Как же я могу теперь продать участок и куда-то уехать? Поймут ваши начальники там в фирме такое объяснение?

— Не знаю... Не уверен. И все же я сам... Ведь должен был быть какой-то знак... Что заставило вас поверить?

— О да, знак был. Знак был такой безобманный, что ника-

ким сомнениям места уже не оставалось. Небывалое, наперехват дыхания, счастливое, чуть не до разрыва, расширение сердца в груди. С ним я и проснулся. Никогда в жизни — ни до, ни после — ничего подобного со мной не случилось. Это было, как взрыв. Казалось, легкие, печень, селезенка, — что там еще в груди? — все стало тесниться к стенкам, как в танцевальном зале. Чтобы дать место тому, кто в центре, — неповторимому, вихреподобному. Думаете ли вы, что старый брюзга с какими-то бумагами в потертом портфеле мог вызывать такой взрыв сам по себе? Или что он мог представить более надежные "верительные грамоты"?

Птичья кормушка за окном качнулась под налетевшим на нее воробьем. Со стороны въезда донеслось тяжелое автомобильное пыхтение, потом колеса прошаркали вдоль стены.

— Съезжаются мои прихожане. — Отец Аверьян нехотя оторвался от дорогого воспоминания, встал. — Хотите остаться на проповедь?

— Очень, очень бы хотел. Но я, во-первых, видите ли, из племени обрезанных...

— Это ничего. И к вам, и к нам Господь говорил через одних и тех же посланцев и переводчиков — от Авраама до Иова. И сохранили вы Его слово бережно — тут ничего не скажешь.

— А во-вторых... — компьютер в голове упорно приказывал "нет-нет-нет", и Джерри с трудом поспеивал расшифровывать его резоны (после проповеди атака захлебнется сама собой, роль заокеанского простака потребует впасть в религиозный восторг и как бы забыть про деловые разговоры), — ...а во-вторых, я просто дико устал. Все же десять часов в самолете (он спал всю дорогу), организм не верит, что сейчас на улице день. Могу ли я приехать завтра?

— Я-то, может быть, и выдюжил служить каждый день. Но прихожанам моим не под силу. Следующий раз будет только в воскресенье.

— Останусь до воскресенья. Нет, для меня теперь все понятно. Я вижу, что продажа и переезд для вас невозможны. Но если я сразу уеду, они заявят, что я не старался. А так... Да, кстати... Мне пришло в голову... Вы сочтете меня идиотом, но все же... Что если вы продаете не землю, а подземелье?

Не сам участок, а, так сказать, подземные сферы? Я имею в виду — право проложить под вами туннель?

Отец Аверьян с изумлением уставился на Джерри. Начал тихо смеяться.

— Вы не боитесь предлагать мне такие идеи? Не думаете, что старый хрыч может принять вас за посланца преисподней?

— Но я же, ха-ха, не требую, чтобы вы мне поклонились. А представляете: вот оттуда, прямо под вас уходит четырехполосное шоссе. И тысячи машин проезжают каждый день к заводу АйСи-Ди и обратно. И каждый водитель успевает увидеть дом и часовню над головой. И рано или поздно ему захочется свернуть с привычного пути, въехать наверх, послушать проповедь...

— О да, мистер Ньюдрайв, вы опасный искуситель...

— Только я вас прошу, не отказывайтесь так сразу.

— Не так уж глупо ваше Ай-Си-Ди, если выбрало вас в качестве посланца...

— ...подумайте хотя бы до воскресенья, а там поговорим.

— Дом и часовня наверху, над обрывом, а шоссе, значит, под них?!

Они уже стояли на крыльце и, пересмеиваясь, двигали руками, как бы размечая будущее строительство, — два великих хитреца, способные оценить таланты друг друга, получающие удовольствие от охмурения достойного соперника.

Пожилая пара шла от стоянки машин. Мужчина по-военному взял под козырек, дама слала воздушные поцелуи. Отец Аверьян поклонился в ответ, осенил крестом. Розовый фургончик тоже вернулся уже, попадая, придерживая заднюю дверцу ("сладкие, незапретные плоды"), выпускала на свет пропахших клубникой прихожан, видимо тех, кто добирался до станции поездом. Некоторые целовали ее, она жестами отвечала, мягко подталкивала их в сторону часовни.

— Давно с вашей женой это несчастье? — неожиданно для себя спросил Джерри.

— Ваш русский язык очень хорош, мистер Ньюдрайв...

— Вообще-то, по деду я — Новодорожный.

— И тем не менее, слово "епитимья", наверно, вам незнакомо.

— Нет. Что оно значит?

— Значит, что уже в воскресенье срок наложенной на матушку немоты кончится и вы сможете с ней побеседовать.

Отец Аверьян поклонился, сверкнув своей алой лысиной, и пошел вслед за паствой.

Прежде чем включить мотор, Джерри посидел в машине еще с четверть часа, то ли выжидая чего-то, то ли любясь проведенной атакой (безуспешно, но какой класс!), то ли действительно борясь с подползающей усталостью. Он даже не услышал, как на площадку вполз последний запоздалый фиат, и не мог бы объяснить себе, из каких примет в мозгу его сложилась мгновенная уверенность, что вновь прибывшие не обычные прихожане. (Антенна радиотелефона над капотом? Фуражка шофера? То, что он пошел осматривать место, а женщина осталась сидеть? То, как он почтительно окликал ее, найдя вход в часовню: "Синьора Сильвана, синьора Сильвана!")) Величественный проход крутобедрой Сильваны от машины до дверей?) Так или иначе, хитрящий, тонко рассчитывающий Джерри куда-то мгновенно испарился, а вместо него возник правый полузащитник сборной Иллинойского университета — напряженный, сжатый в комок, умеющий в долю секунды заметить, как нападающий противника рвется с мячом по краю поля к воротам его команды, и в ту же долю секунды или каким-то чудом еще раньше инстинктивно, самоотверженно — шлемом и руками вперед — кидющийся наперехват.

2

— ...И в этом письме, полученном мною от одного из давних моих слушателей, рассказано о сомнении, мучившем и меня в юные годы, и многих из вас, я думаю, даже и сейчас. Ибо как бы ни была крепка наша вера, разум продолжает вопрошать, а разум дан нам Богом, и потому негоже нам только отмахиваться от его вопросов и затыкать уши, и топтать ногами — "изыди, сатана!" "Если Бог так непомерно велик, так всемогущ, всеведущ и вездесущ, как говорит нам Священное писание и вера наша, — пишет мой давний слушатель, — а человек так жалок, мелок, ничтожен и быстротечен, какое может быть дело великому Богу до ничтожного человека?"

Из того полутемного угла, куда Джерри удалось протиснуться, женщина была видна ему плохо, почти целиком исчезала за спиной шофера. Но пол в часовне откликнулся на каждый шаг таким сварливым скрипом, что он пока не решался вновь навлечь на себя горящие взгляды и шипение прихожан. Во всяком случае не могла же она прямо здесь начать непристойный аукцион (если приехала за этим), не могла начать извлекать из сумки пачки денег (франков? фунтов? скорее всего, лир), а значит, можно было пока выждать, перестраивать войска, спутанные и потрепанные в первой атаке.

— Не о том ли самом сомнении читаем мы и в книге Иова, глава седьмая, стих семнадцатый: "Что такое человек, что Ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание Твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его?.. Доколе же Ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою? Если я согрешил, то что я сделаю Тебе, страж человеков! Зачем Ты поставил меня противником Себе, так что я стал самому себе в тягость?"

На библейской цитате голос отца Аверьяна поднялся до звеняще напряженных всхлипов. Теперь наконец прилив крови к лицу казался оправданным, совпавшим с общим впечатлением разгневанности.

— И вот, дорогие мои братья и сестры во Христе, как было ниспослано мне преодолеть это сомнение: через цветок.

Он извлек из стакана на кафедре тюльпан и нежно повертел в пальцах, показывая то слушателям, то себе.

— Не приоткрывается ли в нашем отношении к цветку подобие — о, только доступное нашему разумению подобие — отношение Бога к человеку? Создали мы этот цветок или он явился на свет сам собой? Сей сорт тюльпана был выведен в Голландии в прошлом веке, значит, в какой-то мере создали. "Цветы уже существовали и раньше", — скажут мне. Но ведь и Бог создавал нас из уже готовых материалов и "заготовок". Зависит ли жизнь цветка от нас? Завтра я отключу отопление в оранжерее — и где его жизнь? Полностью ли он зависит от нас, целиком ли в нашей власти? Если да, — почему мы с таким волнением спешим по утрам в цветник, почему не уверены, что цветы откликнутся на все наши заботы, почему

радуемся пышно расцветшим, огорчаемся по поводу захиревших? Любим ли мы цветок? Если бы не любили, если бы не радовалось наше сердце от простого взглядывания в эти узоры и переливы, разве смог бы я заработать на них, хе-хе, хоть один франк? Становится ли меньше наша любовь от того, что завтра он увянет и будет выброшен вместе с мусором? Ничуть. Любит ли Бог человека — бренного и недолговечного? Гораздо больше, чем мы цветок, ибо дары Его нам безмерны. Он любит нас, вглядывается, переживает за нас — ничтожных, жалких и быстротечных. А потом — не за что-нибудь, не за вину, а по каким-то непостижимым путям Божественных своих устремлений — может сделать с нами вот так.

Он взял головку цветка в широкую ладонь, с хрустом смял ее и открутил от стебля.

Кто-то негромко вскрикнул.

По часовне прошел гул.

Сильвана обернулась к шоферу и начала что-то шептать. Видимо, переводила.

— На этом, правда, кончается сравнение (несколько кощунственное, согласен), которое я себе позволил для наглядности. Ибо никаким усилием, никаким искусством не смогу я уже вернуть этот цветок к жизни. Бог же воскресит нас в последний день — в это мы твердо верим. Ибо, как сказал апостол Павел коринфянам, глава пятнадцатая, стих девятнадцатый: "Если мы в этой только жизни возложили надежду на Христа, — мы несчастнее всех людей". Мы верим в воскресение с такой силой, что не боимся даже обсуждать между собой, каким путем это может произойти и когда и какие есть у нас основания для нашей веры. За то что мы смеем вчитываться в Священное писание и обсуждать его, ожесточившиеся пастыри и властолюбивые иерархи объявили нас еретиками, отверженными от Церкви. Но мы без гнева на них повторяем лишь слова Христа: "Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них". И когда Он посреди нас, нет вопросов, которые испугали бы нас, на которые мы заткнули бы уши, как это часто делают иерархи, поносящие нас. Вопрос, который я хотел рассмотреть с вами сегодня, относится к числу самых трудных и опасных. Еврейские богословы недаром так любят задавать его. "Если Иисус Христос, — говорят они с притворным смиренномудрием, — объявлял себя Сыном Бога — Бога Авраама, Исаака и Иакова — и говорил,

что пришел не нарушить Закон Бога, а исполнить его, где в Старом законе находил он обещание воскресения из мертвых?"

Джерри наконец удалось передвинуться чуть вправо и вперед. Теперь лицо загадочной конкурентки Сильваны было ему хорошо видно: начинающаяся подушечка под подбородком, острый, неподвижный взгляд вперед, седеющие волосы оттянуты назад пучком, так что кожа на лбу поблескивает под огоньками свечей. В сжатых губах была такая сосредоточенность, что на какую-то минуту Джерри подумал: "Может, и правда, приехала ради проповеди?"

— ...Нет-нет, ученые искусители правы: очень трудно отыскать в Ветхом завете места, связанные с воскресением мертвых. Возьмите Библейский словарь: само слово "воскресить" употреблено только один раз, в рассказе о Елисе. Но давайте мы вернемся к Евангелию, откроем то место у Матфея — глава двадцать вторая, — где Христос отвечает коварным саддукеям: "Вы заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей; ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии, на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченого вам Богом: "Я Бог Авраама и Бог Исаака, и Бог Иакова"? До сих пор речь Христа понятна нам, все убедительно, но дальше!.. Вы только вслушайтесь: "Бог не есть Бог мертвых, но живых!" Что это? Оговорка? Неточность перевода? Сознательное искажение, внесенное поздним переписчиком? Ведь Христос приводит цитату, опровергающую то, что он хотел бы подтвердить, — воскресение из мертвых. Цитата говорит, что Богу нет дела до мертвых — только до живых.

Отец Аверьян поднял над головой Библию, прижимая пальцем нужное место в тексте и грозно оглядывая слушателей. Некоторые зашелестели страницами, отыскивая спорный параграф, другие опасливо опустили глаза, втянули головы. Видимо, не все еще были готовы к такой дозе ереси.

— Тот же рассказ почти слово в слово приводится и у других евангелистов. Лука, правда, уточняет: "Ибо у Него (у Бога) все живы". Но так или иначе все три версии рассказа сходятся в одном: ответ Христа показался слушателям необычайно убедительным, искушавшие его были смущены и посрамлены. Более того, Марк и Лука указывают точ-

но место, цитируемое Христом: Бог обращается к Моисею из горящего куста. Но парадокс состоит в том, что в этом месте Ветхого завета ("Исход", три-шесть) нет слов: "Бог не есть Бог мертвых, но живых". Там вообще ничего не сказано ни о живых, ни о мертвых, ни о воскресении. С другой стороны, Христос не мог выдумать цитату — книжники бы тотчас посрамили его. Какой же вывод кажется нам самым правдоподобным?

Отец Аверьян полоснул по слушателям горящим взглядом.

— Только один: что соответствующий текст о воскрешении мертвых был в Книге Исхода! Что Иисус и все его современники отлично знали его! И что лишь в результате борьбы между саддукеями, не веровавшими в воскресение, и фарисеями, верившими в него, текст был цензурно искажен еврейскими книжниками и уже в таком виде попал в Библию христиан!

Среди слушателей прокатился нестройный вздох-стон — то ли возмущения, то ли недоверия, то ли облегчения (опять евреи напортили). Завлеченный в богословские хитросплетения, Джерри на какое-то время забыл о том, зачем он здесь, и только волна холодного воздуха, приплывшая со стороны дверей, заставила его оглянуться.

Ни Сильваны, ни шофера не было на месте.

Полузащитник из Иллинойса пригнулся и, давя растерявшихся прихожан, ринулся к выходу.

3

Портье любовался двадцатидолларовой бумажкой, словно это была экзотическая зеленая бабочка, спустившаяся передохнуть на раскрытых страницах регистрационной книги.

— Дама лет сорока, говорите вы? Пятидесяти? Возможно, итальянка?.. Вошла пять минут назад? О, скорее всего, это синьора Тасканти.

Палец его осторожно протянулся и погладил серо-зеленое крылышко.

— Да? Значит, я не ошибся! Сильвана Тасканти — после стольких лет! Она, верно, и не вспомнит меня сразу. Ну уж нам будет о чем поговорить!..

Джерри кивал, улыбался, но в то же время крепко прижимал ладонью портрет президента Джексона на купюре.

— Хотите, чтобы я позвонил ей? Как прикажете доложить?

— Скажите, что Джерри Ньюдрайв... Нет, пожалуй, нельзя являться к ней в таком виде. С дороги, без подарка, даже без цветов... Эти самолетные ланчи — уж что-нибудь из них непременно останется на рубашке. Я лучше вот что: сниму у вас комнату на несколько дней, а к старушке Сильване заявлюсь ближе к вечеру. В каком она номере?

Взгляд портье остекленел на мгновение, скользнул по лицу Джерри (простодушный ковбой, задумавший навестить подружку), по пальмам в кадках, упиравшимся в потолок вестибюля, по двум красочным индускам, утонувшим в бархате дивана, вернулся вниз и снова потеплел.

— В двадцать восьмом. К сожалению, на втором этаже больше нет свободных номеров. Я дам вам 34-ый. Это на третьем, почти рядом с лифтом.

Джерри отпустил ладонь — зеленую заокеанскую гостью тотчас смахнули в сумрак выдвинутого ящика.

Разглядывая красно-золотую шапочку шедшего перед ним лифтера, Джерри пытался вспомнить подробности погони и решить: был ли какой-то шанс, что те двое в фиате не заметили его? На шоссе он старался держаться подальше, но на улицах попадавшихся городков поневоле прижимался довольно близко. Хорошо еще, что отель оказался на окраине, — в давке парижских улиц он бы потерял их наверняка.

Конечно, любитель гангстерских фильмов только усмехнулся бы с презрением при слове "погоня". Фиат катил так безмятежно, так задумчиво, словно сидевшие в нем до сих пор парили в высотах благочестия, распахнутых перед ними отцом Аверьяном. Шофер высадил Сильвану у дверей отеля и спокойно уехал, явно не обращая никакого внимания на приткнувшийся к живой изгороди плимут.

Воздух в номере был таким по-южному мягким, словно его пропускали не только через кондиционер, но каким-то образом и сквозь стоявшие в вестибюле пальмы. Оранжевое покрывало на кровати заманчиво светилось. Джерри почувствовал, что усталость от колен, спины и плеч поднимается выше, вот-вот может отключить волшебный компьютер в затылке. Он поспешно сбросил пальто, поправил перед зеркалом галстук, волосы (сильно назад, открывая лоб, — мечты, вера в людей, готовность поделиться последним центом) и вышел в коридор (сил уже нет, но секундомер тикает, стади-

он ждет, и в чью пользу счет, — еще не известно).

Дошел до лестницы.

Спустился на один пролет.

Прогуливаясь, двинулся налево.

Замер в задумчивости — ни точного плана, ни шевеления идеи в голове — перед номером 28.

В ту же секунду дверь распахнулась и как бы кинулась на него пустым засасывающим квадратом.

Но нет — это была не дверь.

Это он сам, получив ужасный удар в спину (сапогом? головой? головой в шлеме? в фуражке?) влетел в комнату и рухнул во весь рост на ковер.

Тут же кто-то навалился на него. Он понял, что ему залепляют рот клейкой лентой и что он уже не сможет даже попросить их о том, что сейчас вдруг стало важнее, больше, больнее всего: чтобы они перестали, что это не нужно — втыкать ему нож все глубже и глубже под правую лопатку.

Он видел перед собой только рябь ковра — расплывающуюся, утекающую к вентиляционной решетке в стене, как к краю водопада. Нож в спине перерезал мышцы, дошел до сухожилий, но он мог только мычать и вертеть головой.

Пара женских ног протопала взад-вперед по стремительно мелководью ковра, носок туфли больно поддел его подбородок.

Теперь он мог видеть ряд пуговиц на юбке и где-то выше, за холмами блузки — напряженное лицо, поблескивающий лоб, сжатые губы.

Ведь вот как бывает: не прикончишь такого сразу, а потом ругаешь себя за мягкотелость. Правда, Клод?

Сильвана дернула ногой. Джерри показалось, что второй нож вонзился ему в шею. Он замычал, мотая головой, закатывая белки, стряхивая катящиеся по щекам слезы. На несколько секунд он как бы утратил зрение, и только светящиеся цифры плыли перед глазами, словно на табло с чудовищным, безнадежно проигрышным счетом.

Потом он обнаружил, что сидит, приваленный спиной к дивану, и вместо женской туфли подбородок ему подпирает дуло пистолета. Вывернутые за спину руки были то ли связаны, то ли защелкнуты наручниками.

Все же боль под лопаткой была уже не такой страшной.

Синьора Сильвана проглядывала под светом торшера его бумажник, авиационный билет, паспорт, фотографии детей. Шофер, отдуваясь, переложил пистолет в другую руку, потянулся к стакану с апельсиновым соком.

— Ну вот что, мистер Ньюдрайв. — Сильвана подвинула кресло поближе, наклонилась к его лицу. — Вот какая вышла некрасивая история. Дело происходило так, месье комиссар. Впервые этого человека мы заметили в церкви — и тому найдется много свидетелей. Потом он преследовал нас всю дорогу в автомобиле. Потом дал взятку портье (еще один свидетель), узнал, где я живу (я всегда останавливаюсь в Париже в этом отеле, месье комиссар), ворвался в мой номер. Что тут началось, нетрудно вообразить.

Она взяла себя за ворот блузки двумя руками и с треском разорвала ее до живота. Вытащила все заколки с правой стороны прически, мотнула головой и тотчас окуталась пышными черно-белыми космами.

— Конечно, я сопротивлялась, месье комиссар..

Пальцы ее вытянулись вперед, сорвали с Джерри галстук, рванули рубашку так, что пуговицы брызнули во все стороны, добрались до футболки, растерзали и ее, оставив на коже следы ногтей. Она полюбовалась секунду своей работой, затем, как мастер, наносящий последний штрих, отняла у шофера стакан и выплеснула остатки сока Джерри в лицо.

— Но разве могла я отбиться от такого бандита? Не знаю, чем бы все кончилось, месье комиссар, если бы на счастье не вернулся Клод и не выстрелил в насильника. Как видите, мистер Ньюдрайв, истории недостает последней детали: куда выстрелил Клод. Что бы вы предпочли? Рука? Ухо? Задница? Из чистой гуманности мы можем предоставить вам выбор в этом вопросе.

Шофер вдруг начал смеяться и жестами предлагать свой вариант. Джерри с ужасом проследил направление его указующего пальца и понял, что организм его предательски подыгрывает версии о сексуальном маньяке из-за океана.

— Вот видите. Неожиданно на поверхности вырос еще свидетель — самый искренний и неподкупный. Ну так что? Куда стреляет Клод? Или вы нам расскажете другую историю?

Джерри закивал с такой готовностью, что чуть не вышиб подбородком пистолет из руки шофера.

— Только смотрите, история должна быть без сучка, без задоринки. В ней все должно сходиться, как в полицейском протоколе. Иначе придется заканчивать нашу.

Она резким движением сорвала полоску пластыря, залеплявшую Джерри рот. Каждый волосок, выросший за долгие часы перелета через Атлантику, послал свой короткий обжигающий рывок.

— Сдаюсь... все, полотенце на ринге... Никаких... Ни полиции, ни стрельбы не надо... Не знаю, что на меня нашло... Зачем я погнался за вами... Моя вина... Служебное рвение, черт... Да больше никогда в жизни... Зачем мне это нужно... Хотите перекупить участок — ради Бога... Я маленький коммивояжер. Но старый фанатик все равно не продаст... Я только утром прилетел, завтра улечу — и все... Меня здесь нет, нет, нет!

Сильвана одной рукой отвела пистолет Клода, другой влепила Джерри здоровую пощечину — смесь апельсинового сока и слез полетела на ковер.

— Идиотами нас считаешь?! Какой старик? Какой участок? Фонд давно ждал атаки в Париже, и, как видишь, мы были готовы. Но чтобы из Америки! Кому же мы помешали в Америке — вот что любопытно? Смотри, как Клод нервничает! Смотри — бедный парень может нажать на спуск не разбирая.

— Клянусь! Не знаю я никакого Фонда! Ай-Си-Ди послала меня выторговать участок у попа — вот и все. Просмотрите мои бумаги еще раз — там же все расписано. Я просто решил, что вы приехали за тем же. Хотел выяснить, кто у нас конкурент. Не совсем честно, согласен. Но ведь не убивать же меня за это!

Глаза в глаза — и не только чтобы искренность светилась, а чтобы не опустить их ниже, на пышные улики, выглядывающие из-под лохмотьев блузки, чтобы уловить малейший оттенок недоверия, недовольства на этом напряженном, замкнутом лице.

— Если вы действительно приехали торговаться со священником, почему же не остались, чтобы заняться этим после проповеди? Зачем погнались за нами?

Да я с самого утра только этим и занимался — уговаривал его и так и эдак. Вельзевул бы не выдумал таких соблазнов, какие я ему подсовывал. Потом махнул рукой и собирался уезжать. А тут вы появились. Загадочность, эlegant-

ность... Ну и я... Знаете, чтобы не возвращаться с пустыми руками... хоть что-то боссам в зубах привезти...

— А ведь похоже, не врет, — сказал шофер. — Он уже торчал на стоянке, когда мы подъехали. И оружия на нем нет.

Сильвана еще раз проглядела бумаги Джерри, подумала минуту, потом подняла свисающий лоскут и попробовала вернуть его на место.

— Развяжи ему руки, Клод. Что бы там ни было, мистер Ньюдрайв, согласитесь, что вели вы себя, как гангстер. И что мы имели все основания встретить вас и обращаться с вами именно, как с гангстером. Другие бы на нашем месте давно бы уже нажали на гашетку.

— Соглашаюсь! Виноват во всем... Спровоцировал по легкомыслию... Получил достойный урок... Запомню надолго... Нет плохих чувств...

Джерри вытирал лицо, шевелил перед глазами затекшими пальцами. Нож в спине, кажется, был кован страхом, болью и воображением. Возможно, выкручивание руки остановилось как раз на грани вывиха — не перейдя ее. В футбольных свалках случалось и похуже.

Сильвана вернулась из ванной — помягчевшая, причесанная, в японском халате, расцвеченном драконами, гейшами, зонтами.

— Какое впечатление на вас произвел отец Аверьян? Нас он тоже интересует, но с чисто духовной стороны. На его владения мы не посягаем — об этом не беспокойтесь.

— О, это чистой воды фанатик! Да ведь вы сами слышали его проповедь. Заявить, что еврейские богословы переделывали Писание! Он рос под коммунистами и воображает, что все на свете легко можно изолгать, извратить и передернуть. А как он объясняет свое нежелание продавать участок — вы бы только послушали! Ему, видите ли, было видение во сне. Какой-то пожилой брюзга в зеленых наушниках заставил его подписать обязательство. И из-за этой подписи, поставленной во сне тридцать лет назад, он отказывается от полумиллиона долларов.

— Боже мой, — но ведь это восхитительно! Вы не находите? Сон ценой в полмиллиона. Нет, вы должны все мне рассказать в подробностях. Клод, дружочек, закажи нам обед в номер. Что-нибудь из свежей рыбы. Вы ведь не откажетесь, мистер Ньюдрайв?

Джерри покосился на себя в зеркало: растерзанный дебошир, только что выброшенный из пивной.

— О нет, переодеваться я вас не отпущу. Мы вас так напугали, что вы чего доброго сбежите. А я так хочу узнать подробности об отце Аверьяне. Похоже, он был с вами откровенен, как ни с кем другим. Клод, принеси из спальни мужской халат для нашего гостя. И захвати магнитофон. Я уверена, синьор Умберто тоже захочет послушать. Синьор Умберто — наш босс. Очень тонкий человек, с возвышенными исканиями. Клод, я донесу, что ты усмехнулся на это замечание. До синьора Умберто дошли слухи об этих еретических проповедях, и он необычайно заинтересовался. Воскресение из мертвых — одна из самых волнующих проблем для него. И в догматическом, и в научном, и в чисто теоретическом, и даже практическом аспекте. Клод, пусть пришлют две бутылки розового шабли — они знают. Ну так что же, мистер Ньюдрайв? Что об этом давнишнем сне отца Аверьяна со странным посетителем? Зеленые шерстяные наушники, шляпа, плащ с меховой подстежкой... Что еще? Какой-нибудь знак? Особая примета? Постарайтесь вспомнить все до мелочей.

МАРТ, ПЕРВЫЙ ГОД ДО ОЗАРЕНИЯ, ТАЛЛИН

1

Первая сцена заказанного мамой сценария была самой легкой, потому что Виктория была послушна, как новобранец. Когда они вышли из парадной под жиденькое солнце, Илья просто приказал ей перечислить снова все места, которые она должна была посетить, (кондитерская — купить торт для родственников в Ленинграде, почта — послать открытку со стихком ему, Илье, букинистический магазин — там они снова встретятся и уже вместе отправятся на вокзал), повернул за плечо, слегка подтолкнул, и она бодро зашагала, задевая спортивной сумкой за ледяные зализы на асфальте, подняв и чуть повернув в сторону голову, словно нацеливаясь не пропустить момент и во-время отдать честь какому-то небесному маршалу.

За ту неделю, что она гостила у них на правах назревающей

родственницы (отец Ильи в Ленинграде запутывался — отзвук слова "путался" не говорит ни о чем — все более тесными и нервными отношениями с матерью Виктории) не было случая, чтобы кто-нибудь в доме — не попросил, — а лишь обмолвился бы о каком-то своем желании или неудобстве, и она не кинулась бы тут же исполнять, приносить, включать, отодвигать. Проблема возникала лишь тогда, когда, скажем, Лейда посылала ее в свою комнату за домашними туфлями, а бабка Наталья, не зная этого, перехватывала по дороге и тянула достать из-под кровати закатившуюся катушку, а Илья грохотал на полках шкафа в коридоре, проклиная женщин, никогда не кладущих на место молоток. Правда, вскоре стало заметно, что в подобной ситуации она после недолгого колебания, отложив туфли и катушку на туманное "после", в первую очередь бросалась на поиски молотка. И это при том, что она была старше Ильи на четыре года, жила почти самостоятельно и зарабатывала себе на косметику, вермут и джинсы, сортируя слова и звуки на киностудии (официальное название ее должности — "ассистент звукооператора" — ей не нравилось).

Виктория — киностудия — сценарий. Пробежав по этой цепочке простых ассоциаций, Илья вспомнил, что по маминему сценарию ему полагалось теперь встревоженно оглянуться. Было довольно глупо изображать что-то на абсолютно пустой улочке, но он честно повертел головой (школьный драмкружок, "Ревизор", почтмейстер Шпекин входит с доносами к Хлестакову, девочки в зале хихикают), поддал чемодан коленом и пошел по узкому проходу между стеной дома и поблезшим за зиму вагончиком строителей, на ходу вспоминая, что испуганный вид, как раз наоборот, должен был быть не у него, а у Виктории.

Толпы отяжелевших от покупок туристов уже кружили по улицам Старого города, и двери магазинов качались вздвперед, почти не имея шанса захлопнуться хоть на секунду. Один лишь букинистический оставался в стороне от этого лова-жора-путины. Три старинных атласа, выставленных в его витрине, показывали, как расплзалась постепенно земная твердь в сознании людей: в самом древнем — все вместе, тесно, всю сушу можно объехать верхом; потом между континентами, расцвеченными черепахами, туземцами, птицами,

пальмами, вклиниваются океаны; потом все становится на свои места — четко, разграфлено, увязано в авоську из параллелей и меридианов, бесконечно далеко друг от друга, но всюду кто-то уже побывал — можно и не ехать.

Букинист начал перебирать выложенные Ильей книги с тем профессиональным безразличием, которое должно было наполнить посетителя чувством унижения и отверженности, так чтобы любая предложенная цена показалась удачей. Дойдя до перевязанного бечевкой свертка, удивленно поднял глаза.

— Это от Лейды Ригель вашей матушке, — тихо сказал Илья по-эстонски. — Если можно, отвезите не развязывая.

Букинист подозрительно склонил голову на плечо, будто хотел заглянуть ему не в глаза, а куда-то даже под веки. Ничего опасного не увидел. Кивнул. Спрятал сверток под прилавок. Оставшуюся стопку перебрал уже так небрежно, что мог бы пропустить и инкунабулу. И хотя все это был камуфляж, и книги Лейда побросала в чемодан какие придется, Илья ничего не мог поделать с нарастающим унижением — начал краснеть.

— Да вы знаете ли, что это за книга?

Незаметно появившаяся Виктория протянула руку и переложила потрепанный томик обратно.

— Вы сами читали? Это классика мировой литературы. Как вы можете не брать ее?

— Я читал, да. Не знаю, почему "Клим Самгин" был объявлен классикой. Но я читал, да. Очень длинная книга.

— В ней показан распад личности.

— Очень длинный распад. Не верю, что это берет так долго времени.

— В ней также очень много секса.

— Я уже имею эту книгу на полках. Она стоит там очень давно. Со всем сексом и распадом. Я имею полное собрание сочинений писателя.

— Я покупаю у вас эту книгу. Если молодой человек продаст вам, я тут же куплю ее.

— Виктория, не сходи с ума.

— Но я действительно давно хотела иметь "Клима Самгина".

— Я подарю тебе.

— Он не твой. Он с бабкиных полок. А бабке нужны деньги.

— Если ты такая богатая, купи лучше английский роман. И дай мне почитать потом.

— Идет. Только ты будешь читать первый. А я — через две недели.

— Именно через две?

— Язык надо выучить сначала. Хочешь вон тот, в красно-белой обложке? Смотри, как она на нем виснет. Тебе понравится. Вам всем нравится, чтобы мы на вас так вот висли. А вы бы при этом в окно глядели. Как этот усатый идиот.

— Если уж покупать, то вот этот.

— Такой трепаный?

— Зато я знаю автора, читал один его роман. О печальном лете, которое один печальный человек провел в печальной Вене.

— Мы вот что: ты читаешь, рассказываешь мне сюжет и диалог, и мы вместе переделываем его в сценарий. А дальше я знаю одного режиссера и знаю, с какой стороны к нему подойти. Ты представить себе не можешь, сколько платят за сценарии, за какие-то жалкие сто страниц. Мне за три года столько не заработать.

Пока она отходила платить в кассу, Илья смотрел ей вслед и вдруг подумал, что многое могло бы стать очень хорошо между ним и ею, если бы только можно было ей приказать не запихивать вельветовые брюки в лаковые сапоги. И не подводить глаза голубыми стрелами чуть не до ушей. И не носить шляпу, снятую с героинь немых фильмов. И не облизывать губы каждые пять секунд. И чтобы, рассказывая о киностудии, как это было вчера, когда они заболтались на кухне за полночь, она никогда, никогда не смела больше сознаваться ему про свои бесстыдные фантазии с участием знаменитых киноактеров, которые — фантазии — захлестывают ее иногда так, что она портит звукозапись и теряет в зарплате.

Со стороны вокзала крепостная башня, стена и тесно прижавшиеся друг к другу над обрывом дома выглядели ничуть не грозно, хотя оттенок какой-то недоступности (музейной?) в них все еще сохранялся. Илья, как ему было велено, первым делом запихнул чемодан с книгами в автоматическую камеру хранения и только после этого повернул к кассам.

— Между прочим, — сказала Виктория, — твоя мама говорила, что если я себя жалею, чтобы я никогда больше эту лиловую шляпу с красным шарфом не надевала. А между про-

чим, один молодой человек как увязался за мной от самого вашего дома, так и не отстает до сих пор.

— Где? Какой молодой человек?!

— Такой невысокий. С усиками. И на каблуках, куда же он делся? Только что вот там под часами маячил.

— Почему ты мне раньше не сказала?

— А зачем? А ты что? Ты драться бы стал?

— Виктория! Если увидишь его снова, немедленно покажи мне.

— Илья, ты же знаешь: я не выношу, когда на меня кричат. Я так отдыхала в вашем доме от всего крика, который мне приходится терпеть — на студии, в магазинах, от мамы, от теток. Не порти мне эту неделю. Ну что я такого страшного сделала?

— Нет, мы тоже много орали эту неделю. Шепотом. По утрам, когда ты еще спала. Это все из-за мамы. Она страшно нервничает последнее время.

— А я на нее когда смотрю, каждый раз думаю: вот бы мне у нее научиться. Хоть немножко. И тоже стать такой холодной и равнодушной.

— За "равнодушную" получишь сейчас по шее.

— Гордой.

— Я не знаю точно, но что-то сгущается вокруг нее. Какая-то опасность. Она совсем извелась. Может быть, это мой бывший отчим, ольгин отец. На него находит иногда, и он нежные письма начинает маме писать. Или под окном стоит. А когда вместе жили, чуть что — с кулаками лез. Но, может быть, не он, а еще что-нибудь похуже.

— Она не говорит? Ты ее спрашивал?

— Безнадежно. Это у них называется "ограждать детей". Любимое дело.

— А твой отец со мной очень делится. Даже совета иногда спрашивает. Потому что я свою мамулю насквозь знаю и всегда могу сказать, когда у нее настоящая истерика, а когда — по системе Станиславского.

— Отец всегда очень мягкий был. Так что у меня главная задача — наследственность изживать.

— Это так смешно, что у меня может брат появиться. И сразу — выше меня на голову. Когда приедешь в Ленинград, я тебя приведу на киностудию, скажу: вот какой братик мне

свалился. Никто не поверит. Ты ведь приедешь? Точно?

— Там видно будет. Отец все время зовет.

— Теперь и я буду звать. Бра-а-атик! Приезжа-а-а-й!

— Моя бы воля, я за уменьшительные суффиксы на рельсы бы сбрасывал.

— Ну хорошо. Брат. Братуля. Братище. Брательник. Дай я тебя поцелую по-сестрински. Ой, торт не сомни. Нет, по-сестрински не интересно. Лучше так... Ну вот... Всю неделю откладывала, хотя очень хотелось. С самого начала.

Она отпустила его шею, просительно заглянула в глаза, улыбнулась. Потом вздохнула и ушла в вагон. Сквозь стекло они тоже еще немного поулыбались и помахали друг другу. И идя обратно по перрону к зданию вокзала, перебирая в памяти мелкие детали этой прощальной сцены, слизывая с губы сладковатую помаду, постепенно соскальзывая в привычный раздор с самим собой — с вторым собой, — Илья не в первый уже раз дивился неразборчивости этого второго, которому, казалось, было наплевать и на лиловую шляпу, и на голубые стрелы от век, и на вульгарные суффиксы и который имел свои непостижимые критерии для натяжения и ослабления струн-вожжей, отданных ему в управу, тянувшихся от средоточия в паху — лучами по всему телу. А когда дошел до камеры хранения, до ящика с нужным номером (он записал и номер, и код запора на бумажке) и сразу понял, что ящик отперт и пуст, то не возмущение неведомыми ворами, не тревога за маму, которая, как он понимал, именно чего-то такого и ожидала (а может, и хотела, чтобы случилось), но горькая досада пропажи захватила его сильнее всего — пропажи английского романчика, купленного ему новоявленной сестрой и, по недомыслию, сунутого им в чемодан с остальными книгами.

2

— Это вот ведь часто так и с пацанами бывает. Играют они, скажем, под твоими окнами в футбол, и вдруг слышишь: ддрззы-ы-ынь! Залепили мячом в стекло, разбили. Ну выскочишь и думаешь: как же тут узнать, кто залепил? А вот — и узнавать не надо. Потому что который залепил сам непременно бросится бежать. Тут ты его и...

Следователь гребанул из воздуха воображаемого комара, прихлопнул другой ладонью, мечтательно растер.

— Или, скажем, та евреечка, что во Владимира Ильича стреляла. Кабы она не бросилась бежать, может, в панике, да в суматохе, да опыта еще не было, — и не поймали бы ее. Есть теперь, правда, лжеисторики, статейки пописывают, что вовсе и не она стреляла, что доказательств не было, что поймали ее далеко от места, а пистолета и вовсе не нашли. Да уж нас-то не обманешь. Ведь это даже пес, совсем молодой и необученный, инстинктом знает: кто бежит — того хватай, кусай, рви.

Следователь отъехал в кресле от стола, свесил набок лысеющую голову, всмотрелся прищуренным глазом.

— Я это все к тому говорю, уважаемая Лейда Игнатъевна, что очень уж вы от нас бегаєте. Поначалу мы и не думали о вас ничего плохого. Наоборот: защитить хотели. Ведь если враги нашим ученым интересуются, мы должны быть тут как тут. На то мы и ЧК, чтобы быть начеку, хе-хе. Должны установить наблюдение, проверить. Это у нас как закон. А вы что на это? Устроили настоящий детектив — с переодеваниями, с исчезновениями, с прятанием, с гонками на такси, с какими-то шифрованными разговорами по телефону. Нехорошо. Тут уж мы поневоле заинтересовались: что она так прячет? Женщина ведь хорошая — мать двоих детей, работает много. Может, запуталась слегка, может, ее уже шантажируют какие-нибудь темные отщепенческие силы. Решили вот вызвать вас, поговорить начистоту.

— И для этого послали специального громилу — напугать меня ночью в парадной до полусмерти?

— Да чем же Ян вас напугал? Он у нас самый мягкий, самый человечный. Курсы по гуманному обращению в Швеции кончал. Только для особо деликатных дел. Но ведь надо было нам убедиться, что повестка вам вручена. А то знаете, какие люди теперь бывают? Кто дверь не откроет, кто пошлет детей наврать, что дома нет, кто расписаться откажется. Народ очень разыгрался, работать с ним все труднее и труднее. Да и сами вы: повестка вам на второе февраля была, а вы что? Всеми правдами и неправдами до марта дотянули.

— Должна была лечь в больницу на обследование. У вас справка есть.

— Ну да, справка. Дружком вашим по мединституту подписанная. (Будет время — им тоже займемся.) Нет, много, много вы нам лишней работы задаете. Одними прятками

подчиненным моим как нервы истрепали.

— Ни от кого я не прячусь.

— Ну да. А кто, например, с работы в такси уезжает (есть у нас люди повсюду, рассказывают), а домой непременно пешком приходит.

— Не хватит, знаете, денег до самого дому — вот и отпустишь машину квартала за два.

— А не для того, чтобы шофер с нами не встретился, не рассказал, где вы побывали.

— Если у вас всюду люди, они ведь вам и номер машины докладывают.

— А вы потом в городе машину смените — и концы в воду. Да еще и переоденетесь где-нибудь по дороге. Это-то зачем?

— Есть слабость, люблю наряжаться.

— Кокетство, Лейда Игнатьевна, вам же самой боком выходит. Смотрите-ка: два мужа от вас уже убежали, да и новые женихи не спешат. А женщина вы эффектная, интересная. Почему бы такое расхождение?

— Слушайте, куда я попала? Это что — консультация по вопросам семьи и брака?

— Семьи, брака, жизни, смерти, любви, дружбы — нам все важно, мы все хотим знать о наших людях. Кстати, о дружбе: хорошо ли, что вы своему другу, мистеру Силлерсу, больше не пишете?

— Связь с иностранцем — больно надо. Да и нет интереса писать при вашем участии. Коллективное творчество. Как запорожцы — турецкому султану. Не для меня.

— А он вот вам все пишет.

— Я просила его перестать.

— Он упрямый. Правда, стал клеивать "бешеным клеем". Страшный продукт. Весь конверт расплывется, а место склейки цело. И знаете, о чем он пишет?

— Не интересно.

— Что очень хочет вас видеть. Так хочет, что собрался приехать.

Следователь подпустил в голос то лиричное мяуканье, которое на киноэкране должно было бы послужить сигналом к вступлению гобоев и скрипок.

Лейда молчала.

— Если вы думаете, что мы имеем что-нибудь против, то

ошибаетесь. Мы всегда только против одного: тайн, секретов, изворачивания. Но когда честно, прямо, открыто, с нашего ведома, — это то, что мы всячески поддерживаем. Это дружеские международные связи. Мы не только не возражаем, мы хотим, чтобы вы встретились с мистером Силлерсом.

— Тогда я тем более не хочу иметь с ним ничего общего.

— Ну хватит!!!

Могло ли быть, что в крышке стола у него была заделана специальная резонирующая площадка, чтобы удар ладонью по ней взрывался не только грохотом, но и кинжальной болью в барабанных перепонках? Или это все нервы?

Лейда, зажав уши ладонями и откинувшись в кресле, расширенными глазами смотрела, как следователь заносил руку второй раз.

— Вот так с вами всегда! По-человечески не понимаете! Наглеете тут же! "Я тем более не хочу". А в камеру не хочешь? Вот прямо сейчас же? Да головой к параше? Да вместе с наркоманкой двух метров ростом? С сексуальной маньячихой? Да у меня материала на тебя — гора! Ордер на арест — по всей форме. Только подписать! И никаких больше хлопот, никакой беготни за тобой, халдой длинноногой! Никаких прятков! Месяца три посидишь — все сама выложишь! В зубах принесешь! На четвереньках! А я тебе еще по заднице сапогом поддам, и ты мне спасибо скажешь! Поняла? Ясна тебе ситуация? Так что? В камеру или с иностранцем встречаться?

Лейда медленно протянула руку, подвинула к себе графин. Открыла, наклонила, направила тоненькую струйку в стакан. Долго пила. И все же голос прозвучал хрипло.

— Когда?

— Что когда?

— Когда он приезжает?

Следователь застыл на секунду, потом размягчил морщины, смахнул свирепую гримасу, вернул человечность и всепонимание.

— Ну вот. Вот видите, до чего вы меня довели. А зачем? Через два месяца он приезжает. Скоро уже. Обычная туристская поездка. Ленинград, Таллин, Рига, Вильнюс. Мы дадим вам знать. И место для встречи подготовим, вам и беспокоиться не надо. Очень уютная квартирка, вам там будет удобнее поговорить обо всем. Вы напишите ему — мол, буду ждать и

все такое. И чтобы без фокусов. Никаких внезапных отъездов в это время, никаких командировок...

Он еще долго давал ей инструкции и наставления, все больше размягчаясь, довольный успехом и произведенным эффектом, так что у нее было время унять дрожь, справиться с сердцебиением, и из кабинета она вышла почти спокойной.

Отдала постовому подписанный пропуск.

Села в троллейбус.

И тут примелькавшийся уже коротышка с усиками вошел следом, сел сзади и, наклонясь вперед и улыбаясь, зашептал ей в ухо:

— А я тебе, сука, попросту и от себя скажу. Мне и с тобой хлопот хватает, а если ты еще щенка своего будешь в наши игры впутывать, я церемониться не буду. Либо глаз ему выколю, либо нос отрежу заподлицо, так что и очки нацеплять будет не на что. И сам в милицию отведу — вот мол, что хулиганы проклятые делают.

Она не выдержала — разрыдалась громко, истерично, лоя ртом воздух, цепляясь за протянутые к ней участливые руки, за пузырьки с валидолом, за пакетики с элениумом.

ИЮНЬ, ПЕРВЫЙ ГОД ДО ОЗАРЕНИЯ, ЛЕНИНГРАД

1

С тяжкими вздохами новый автобус протиснулся между двумя другими, уже стоявшими у края тротуара, набрал полные стекла дымчатой, отраженной листвы, открыл двери. Девушка-гид что-то еще говорила, оставаясь внутри, жестами посылая выходящих на свет туристов к дверям гостиницы. Старуха в розовом брючном костюме, пропотевший толстяк, мать с девочкой, трое подростков с транзистором, бородач, увешанный фотокамерами, снова старухи, снова подростки... Последней вышла парочка, выглядевшая такой помятой, словно их извлекли не с заднего сиденья, а из-под двуспального одеяла.

Илья прошелся до угла, вернулся, вложил себя в апельсиновую дольку вращающейся двери, выкатился внутри и со скучающим видом снова занял свой пост у окна.

Мистер Силлерс со своей группой прибывает сегодня, и номер для него забронирован в Европейской — это все, что подруга Виктории, служившая в "Интуристе", смогла разузнать для них. Ни времени прибытия, ни способа пересечения границы (самолетом? поездом? пароходом? ползком?). А расспрашивать прямо в гостинице они не решались.

Илья еще раз оглядел сновавший по вестибюлю народ. Одного типа он заприметил с самого утра и в нем уже не сомневался. Мокрогубый, сутулый, в обвислом пиджаке, откровенно скучающий, подсаживавшийся к разговаривающим туристам там и тут, явно ни на что, кроме слежки, не пригодный. Но ведь могли быть и другие! То, что и тип должен был бы заметить праздного юнца и найти подозрительным его окочачивание у дверей гостиницы — то изнутри, то снаружи, — как-то не принималось Ильей всерьез. Ведь они с Викторией столько времени и сил потратили на то, чтобы он выглядел иностранцем. И потертые джинсы, и футболка "I love New York", и итальянские сандалии, и японская оправка для очков, и жвачная резинка во рту, и длинные патлы — ну что вам еще? Правда, и швейцар, и продавщица в киоске пытались заговорить с ним по-русски. Но, может, они и со всеми так? Других языков, поди, и не знают. Он, во всяком случае, сделал вид, что не понимает.

Подошел еще один автобус — прямой из Хельсинки. Большинство его пассажиров сходили на асфальт с какими-то блудливыми улыбочками, словно уверенные в том, что черта, отделяющая сухой закон от безудержного веселья, должна была проходить прямо по последней автобусной ступеньке, словно они ждали, что цыганский хор, медведи с кольцами в носу, звон бокалов, гитар, балалаек — все это должно грянуть немедленно. Высокого разболтанного джентльмена с лошадиными зубами (у Лейды сохранился полароидный снимок с их первой встречи) среди них не было.

На этот раз Илья не стал заходить в вестибюль — перешел на свой второй наблюдательный пункт, на скамейку в садике. Оттуда было далековато, и гуляющая публика то и дело заслоняла вход в гостиницу, но уж подъезжающий-то автобус он не мог не заметить. Кроме того, там было легче отвлечься и решить наконец-то, над чем он бился последние три дня: должен ли он теперь сам позвать Викторию, или нет?

Вопрос, хочется ли ему этого, был настолько сложнее, что за него он и не пытался браться.

Он приехал в Ленинград в тот день, когда отец и Генриетта Геннадиевна (мать Виктории) уезжали в отпуск, и получил длинный список инструкций: как отвечать на телефонные звонки (не сознаваться, что в квартире живут непрописанные), как запирать на ночь дверь (ни в коем случае не полагаться только на два основных замка, а пускать в дело и старинный крюк), как ездить в метро, как разговаривать на улице с незнакомыми, как включать и выключать телевизор (чуть прижимая кнопку вправо и вниз), как пользоваться холодильником (не класть лимонад в морозилку), как следить, чтобы Виктория не устраивала в доме слишком большие сборища (десять человек — максимум).

— Сборища? Десять человек?! Да она мне двух подруг не разрешает пригласить! У нее комендантский час — круглые сутки. Больше трех не собираться, огонь открываю без предупреждения. Да если б мне хоть на десятку зарплату прибавили, я бы тут же съехала отсюда, сняла бы где-нибудь комнату!

Они очень славно посидели на кухне первый вечер, перемывая кости сначала родственникам, потом учителям, знакомым, соседям, потом перешли на настоящую, яркую и волнующую жизнь, то есть на книжную и киношную, и, досыта наболтавшись, вполне невинно расползлись по своим комнатам после двух часов ночи.

Не следующий день Виктория уговорила Илью поехать с ней на киностудию. ("Просто поглазеть — не пожалеешь") И хотя кинозвезду, которую он больше всего мечтал увидеть, они так и не повстречали, он действительно не пожалел, действительно поглазель всласть. Правда, запомнились потом крепче всего только самые маскарадные картинки: стрелец с бердышом, звонящий по телефону-автомату; или еще во дворе были выставлены в один ряд карета, полевая кухня, скорострельная пушка, катафалк, орган, гильотина, тачанка (для фильма о вечной революции?); или две дамы в кринолинах, несущие из буфета связки сосисок; или просмотр какого-то фигурно-конькобежного мюзикла, где все приглашенные и пробравшиеся тайком ютились в рядах, а для директора кресло было поставлено на возвышении, и он сидел там, толстый и курчавый, как какой-нибудь новый хан, взи-

рающий на проносящихся по овальной стене неземных гурий, сжимая пальцами не плетку, а карандаш, которым он время от времени чиркал в блокноте. Общее же впечатление сводилось к тому, что все эти люди — и стрелец, и дамы, и пулеметчик, пивший кефир на тачанке, и гурии на экране, и даже директор, — все были придавлены тревогой и напряженным желанием то ли не упустить что-то, вовремя заметить, то ли, наоборот, быть замеченными, не упущенными из виду (кинокамерой? зрителем? режиссером?). Как ни странно, Виктория, в ее тяжелой боевой раскраске и наряде, выдержанном в тонах светофора, была чуть ли не единственной здесь, кто не поддавался этой тревоге и не косил поминутно взглядом по сторонам.

Зато вечером она была мрачна, молчалива, даже прикрикнула на него за неубранное в холодильник масло. Он уже улегся в постель и листал журнал, когда она вошла, туго завернутая в халатик, и стала говорить быстро и оживленно, чаще обычного облизывая губы.

— Слушай, братище, у меня есть одна идея... на твое усмотрение... То есть я не знаю... может, ты еще не слышал... В школах этому не учат... У женщин бывают особые проблемы... особенно лет до тридцати... Отчасти психология, отчасти воспитание...

Она вдруг замолкла, сжала ворот у горла и сказала тонко и жалобно:

— Да выключи ты свет.

В темноте он почувствовал, что она присаживается на край его кровати — осторожно и далеко, у самой спинки. И еще он почувствовал запах вина.

— ...Ну вот... и я боюсь, что у меня тоже эта проблема... То есть, что мне не хочется... ты понимаешь?.. Я делала это несколько раз, и они мне очень нравились, особенно один... Но я делала только для них, а самой мне совершенно не хотелось... И теперь... ты уж не сердись, так случилось само собой, но мне вдруг захотелось, чтобы ты мне это сделал... Очень захотелось... сделай это со мной...

— ...Нет, убери руку, не трогай... Я еще долго буду говорить, чтобы все объяснить... Не вдруг, конечно, а еще с поездки к вам в Таллин... Я знаю, что как женщина я тебе не нравлюсь... И старше настолько, и вообще... это всегда чувству-

ешь... Но ведь мужчина может и без этого... будет труднее немало, но в темноте можно... Главное, я хочу, чтобы ты знал, что тебе не надо ничего изображать, ни в чем притворяться... Просто сделать это для меня, ну, как сорину вынуть из глаза... или занозу вытащить... И потом, завтра и после, чтобы ничего не изменилось... Как было, так и будет... Ты уедешь обратно к себе, а я тебя ничем, ну ничем не свяжу...

— ...Ты понял, да?.. Согласен?.. Дай руку, вот сюда... Я буду немножко командовать — ничего?.. Ты знаешь, я всегда всех слушаюсь, но в этом все же я немного больше знаю... А ты? Ты первый раз?.. Нет, лучше не говори... Как?.. как ты хочешь?.. Вот так?.. Тебе нравится у меня здесь? Хотя немножко?.. Ой, прости... Я не должна так говорить... Это потому что в ушах так стучит... и голова кругом... я выпила почти стакан... Ведь главное, чтобы мне... чтобы мне было так хорошо, как мне сейчас... А про тебя я не буду спрашивать... Это одно лишь тщеславие... Я знать не хочу, как тебе сейчас... Я плевать на это хотела... Я только о себе...

Ему было потно, горячо, неуклюже, страшно, горько, стыдно, волшебно, снова горячо, снова неуклюже (одеяло опутало ноги), потом горячее, быстрее, неостановимо и наконец — с испуганным и изумленным вскриком — счастливый освобождающий взрыв.

Она еще немного полежала в темноте, то ли ошеломленная, то ли разочарованная, то ли просто надеющаяся, что он откажется от разрешенной ею игры в безразличие, в медицинскую процедуру и что-нибудь выдавит из себя. Он молчал и хотел только одного: чтобы она тоже ничего не говорила и поскорее ушла. Поэтому, когда рука ее скользнула по его голому плечу и вверх по шее, он не смог сдержать крошечного, импульсивного, микроскопического движения, — пожалуй, одной лишь кожей, но тем не менее явственно — прочь. Она вздрогнула, быстро спустила ноги на пол, подхватила халатик и протопала к полоске света под дверью.

...Два автобуса сразу начали заворачивать к гостинице: один — с площади Искусств, другой — вдалеке, с Невского. Вислогубый шпик тоже вышел им навстречу, и Илья, походя, успел заметить, что он перемолвился о чем-то с дежурным милиционером. Фарцовщики осторожничают, кружили в отдалении, но мальчишка — охотник за значками — смело ринулся

в толпу вновь прибывших, даже Илью в азарте дернул за рукав: "Бэджес? Хэв бэджес?" Илья был польщен.

Вернувшись на скамейку в саду, он попробовал думать о чем-нибудь другом, с Викторией не связанном. О том, например, кончатся ли мамины метания, страхи и внезапные исчезновения, если ей удастся встретиться с этим иностранцем; или как было бы хорошо, чтобы в решительный момент именно он, Илья, догадался, откуда грозит главная беда, и отвел ее, или о том, что неплохо было бы, спасаясь от тех, кто следит за ними, ворует чемоданы с книгами и тому подобное, переехать вот сюда, в такой город, где на одной этой площади больше знаменитых домов, мест и имен, чем во всем их провинциальном Таллине.

Да, но если переезжать, это значит — жить в одном городе с Викторией.

И каждый день рисковать столкнуться с ней.

И ходить, так же озираясь, как он ходил, сбжав из квартиры на следующий день, проснувшись в пять утра, прокрававшись по коридору, выбравшись в пустой, обесцвеченный белой ночью город. И потом, пошлявшись неизвестно где, голодный и усталый, поздно вечером, высмотрев, что в окнах темно, так же крадучись, вернулся, пробрался в свою комнату и лежал, затаившись под одеялом, — весь слух и ожидание. А когда хлопнула дверь, когда прошли по коридору осторожные каблочки, то уже и не слух даже, а одна открытая голая кожа, которая каждой клеточкой своей вопила, ждала, требовала, чтобы эта женщина — да, именно она и никакая другая — пришла сейчас и чтобы все было, как накануне.

"Но, может быть, это у всех так, — пытался успокаивать он себя, пятясь, задвигаясь в спасительную гущу "всех". — Может быть, не в том дело, что первый раз и что я маньяк ненормальный или что она выглядит посмешищем, или еще что. Может быть, просто привыкаешь с детства жить в дурацких мечтах, что все они для тебя, что всех можешь полюбить, заполучить. Кого легче, кого труднее — это неважно, но так или иначе все они где-то рядом, в твоих владениях. А когда случается первый раз на самом деле, — да нет, не любовь! — какая тут еще любовь, — замолчи, не смей меня, — и так вот долетает волна до самого сердца, то вдруг впервые что-то до тебя доходит, какое-то изначальное правило что ли: когда

появится одна, остальных всех отнимут. И все твое великое любовное царство-государство, в котором привык жить, тоже сузится в пятачок. Отдать его — и это за одну несчастную Викторию? Да, может, поэтому первый раз такой страшный. Не потому, что не вышло, не сумел как следует (а как следует?) — мало ли, можно пробовать еще и еще, — а потому, что это правило проклятое приоткрывается: либо царства лишаться, либо волны. И многие просто не выдерживают этого жуткого выбора, не хотят под таким условием. Может, и Толик Моргенсон?..

Он вдруг понял, что если немедленно не вынырнуть из бездны теоретизирования, то и последние туристы из подъехавшего автобуса исчезнут в дверях гостиницы.

Женщина испуганно подтянула к себе детскую коляску, сторожика усталилась на сбитую в прыжке голову хризантемы и дернула к губам свисток, таксер тормознул и высунул в окно кулак...

Долговязый джентльмен уже поднимался по пышной лестнице, помахивая ключом, задрал свою лошадиную улыбку к росписи потолка.

— Мистер Силлерс? Вы мистер Силлерс? — Илья дышал тяжело, но все же старался держать нижнюю губу чуть выпяченной вперед, как его учили, чтобы английские слова соскальзывали по более привычному для них спуску. — Я сын Лейды Ригель. Она не сможет увидеться с вами в Таллине. Поэтому приехала заранее сюда... Если вы хотите видеть ее, идите за мной. Да, прямо сейчас, пока вас не погнали на обед. Тогда уже будет не вырваться. Это в музее... здесь недалеко...

Только проговорив все это, Илья осознал, что вислогубый тип стоит неподалеку у резных перил, смотрит на них и всеми складками щек, шеи, лба изображает какую-то каннибальскую приветливость.

2

— И после этого они дали вам лабораторию? Но Чарльз, — это просто невероятно.

— Я сам до сих пор не могу поверить.

— Сказка Венского леса.

— Возможно, там не все так чисто, как выглядит. Много секретов. Не дают встречаться с директорами, с консультантами по науке. Самого главного — Умберто Фанцони, —

кажется, вообще никто не видел.

— Пока они платят за приборы и змей, не все ли равно?

— Я написал им докладную и о вашей работе. То, что мог вспомнить. Не сердитесь, если что-нибудь переврал. Они очень заинтересовались. Ответили, что с финансированием проблем не будет.

— Слушайте, прежде чем говорить такое, надо дать человеку усесться покрепче. Ведь ноги подкашиваются. Вон там освободился диванчик — пойдете сядем.

— Я что-то не могу понять: этот мужчина, — на кого он замахнулся топором?

— На себя. Хочет отрубить собственную руку. Враги выжгли на ней клеймо, а он не может жить с таким позором.

— Какие враги?

— Не помню. Давнишняя история. Враги у нас есть всегда. В сущности одни и те же. Может не остаться хлеба, воды, леса, но враги найдутся. Без них мы просто растерялись бы, не знали ради чего жить. Впрочем, про эту статую циники говорят, что парень просто хотел увильнуть от армии.

— Раз уж вы уселись, я могу сказать, сколько они могут выделить вам на первый год.

— Какой смысл? Я все равно в ваших ценах не понимаю. Да и как я могу добраться до этих денег?

— Приехать в Европу — только и всего.

— Вы издеваетесь?

— Ведь многих ваших ученых посылают за границу. Я сам целый год работал с коллегами из Москвы. Они говорили, что у них не было никаких проблем с выездом.

— О да, никаких. Только маленькая подпись на маленьком обязательстве, в маленьком кабинете за железной дверью. Честно рассказать по возвращении о всем виденном и слышанном. Воображаю, как они вас расписали в своих отчетах владельцам кабинета: "...представитель передовой интеллигенции, сочувствует угнетенным во всем мире, верит в интернациональную дружбу, можно брать голыми руками".

— Даже если они и шпионили немножко, — я-то им зачем? Больно я нужен вашей разведке?

— Так вот имейте в виду, что нужны. Что они вызывали меня и т р е б о в а л и , чтобы я встретилась с вами. Чтобы привела в специально оборудованную для таких дел кварти-

ру. И я вынуждена была обещать им это. Конечно, когда вы приедете в Таллин, у меня случится тяжелый приступ почечных колик (болезнь засвидетельствована документально), и я окажусь в больнице. Не вздумайте навесить меня там. Все что у нас есть, — вот эти полчаса. И мы обо всем должны договориться прямо сейчас.

— Как? И мы не пойдём с вами в ресторан? У меня карманы пухнут от валюты.

— Об этом не может быть и речи.

— Но можем мы хотя бы перейти в другой зал? Вы же знаете, я к змеям привычный, могу их на шею наматывать. Но когда они вот так сыпятся на женщин и детей, это действует мне на нервы.

— Хорошо. Хотя, кажется, и там будет не легче. Да, так и есть. Вы можете объяснить, почему люди с таким упрямством селятся рядом с вулканами? Тот же Везувий, — сколько народу сейчас живет вокруг него. А многие в сегодняшних Помпеях, наверно, даже держат на стене репродукцию с этой картины.

— А я вам вот что скажу: секс и насилие в искусстве — не вчера это началось. В этих двух залах голых, окровавленных, отравленных, зарезанных, раздавленных наберется на пять хороших порнофриллеров.

Наконец они нашли небольшой зал, увешанный мягкими пейзажами, где нежная душа художника растворилась в солнечных пятнах, листве, тропинках, каменных террасах. Даже буря на море выглядела манящей и уютной.

— Чарльз, я хочу, чтобы вы поняли, в каком я отчаянном положении, и решили, можно ли мне помочь. За мною следят. Продолжать исследования я больше не могу. Вот уже полгода не притрагивалась. Все материалы и записи спрятаны в надежном месте. Но я не рискую туда больше ходить. Если они захватят все, — представляете, чем это может обернуться? Но и уничтожить духу не хватает. Пять лет жизни все-таки. Если б знала с самого начала, что к этому придет, ни за что бы не начинала. Но теперь уже поздно. Все, чего я хочу сейчас, — спасти материалы. Их не так уж много — один чемодан. Пленки, блокноты с записями, данные анализов. Может быть, на будущее. Может быть, кто-нибудь другой сможет разобрать-

ся и и продолжить. Что вы на это скажете? Есть у вас какая-нибудь возможность?

— Если кратко, то вот. Я тоже не совсем пропащий идеалист, каким вам кажусь. И не поехал бы я сюда от новенькой лаборатории, если бы... Если бы мог обойтись без вас. Но то, до чего я сейчас дошел, похоже на переплетение маленьких и больших тупичков. И я подозреваю, — ответы должны быть у вас. Никто другой мне не поможет. Потому что только вы и я исходим из идеи: "кровь — живая". Что мне пользы от вашего чемодана? Что я там пойму? Мне надо, чтобы вы работали в соседней комнате. Или, на худой конец, через коридор. Чтобы в любой момент я мог зайти и спросить, куда грести дальше. Или попросить проверить идею, просмотреть свежим взглядом эксперименты. Или просто ущипнуть за задницу и получить вразумляющую оплеуху. Поэтому я вот что решил: если все попытки выехать по моему приглашению или уехать туристкой провалятся, я предлагаю вам свою руку и... то, что нынче важнее сердца, — паспорт с визой.

Он со стуком упал на острое колено, протянул просительно растопыренную ладонь. Дежурная в черном мундире повернула голову на непорядок, стала наливать венозной кровью.

— Чарльз, у меня уже двое детей на плечах. Да старуха-мать, считайте, трое. Не могу я взвалить еще четвертого.

— Если вы думаете, что в благодарность вам придется обнимать такую костлявую конструкцию, — можете не волноваться. В сексуальном плане вы меня совершенно не интересуете. Только в научном. Какая-то опасность будет грозить вашему сыну, но я обещаю положением отчима не злоупотреблять.

— Час от часу не легче.

— Шокированы?

— Не в этом дело... Слушайте, — вы и тем московским коллегам?.. Вы и им в своих вкусах признались?

— Может быть. Не помню. Тоже не следовало?

— Вы знаете, что здесь это уголовно наказуемо? Что если это в вашем досье, — вы у них в руках? Вы отодвинете подосланного пьяного с дороги, и вас обвинят в сексуальном нападении.

— Я все еще не могу поверить в такое внимание к себе.

Правда, их может интересовать Фонд. Но и тут я мало чем бы мог помочь им. Даже если б захотел.

— Ох, пойдете отсюда. Эта женщина там... С ней сейчас случится удар. От пламенной классовой ненависти. А обвинят нас.

Они спустились по мраморной лестнице, двинулись по залам первого этажа, путаясь, возвращаясь в одни и те же, возвращаясь на одни и те же круги разговора, потому что конечно же он не мог понять, как это его героическая готовность жениться (видимо, вынашивавшаяся с умилением от себя самого) ничего не может изменить. Ну да, надо подать заявление и ждать, скажем, два месяца, а там кончится его виза, а следующий раз приехать ему уже не дадут, так это обычно делается; ну да, некоторым все же разрешают, но во всяком случае не тем, за которыми постоянная слежка; нет, и к адвокату нельзя обратиться, на кого ты хочешь подать в суд? Все будут говорить, что они всей душой за вас, поздравлять, кричать "горько" и отсылать к следующему чиновнику; нет, и в газеты нельзя, газеты здесь для другой цели, для более возвышенной — выплавка стали, сев колосовых, — они не опускаются до брачных мелочей...

— Да нет же, я не хочу сказать, что они абсолютно всеильны, — говорила она тускнеющим от безнадежности голосом, — от них можно уворачиваться и дурачить довольно долго, я, например, уже изрядно наловчилась, но вообще — это, как метания рыбки в пруду, когда рыбаку не очень нужно поймать именно тебя, у него идет плановый отлов, есть шанс уворачиваться от бросаемой сети и раз, и другой, и третий, выигрывать время, что-то успевать сделать, о, — это целая наука, но выход-то из пруда перегорожен намертво, и, когда им станет очень нужно, они, конечно, изловят тебя, а могут и вообще спустить воду в пруду и тогда взять тебя, дергающуюся, со дна голыми руками... Нет, это не преувеличение и не пропаганда, и нет, я не впала в паранойю, не нужны мне ваши психоаналитики, и... я очень ждала вашего приезда, на одной только надежде дотягивала, поэтому ничего стыдного, могу и плакать сейчас... ничего такого... станьте так, чтобы меня не было видно... я сейчас... я справлюсь...

Он ошарашенно озирался, выставлял свою крупнозубую улыбку посетителям, дежурной, угрюмым бурлакам на картине, гладил ее по плечу.

— Ну вот что... раз все оборачивается таким образом... Перед отъездом у меня была встреча... Я ни за что не хотел, но Фонд настаивал категорически... Самый гнусный тип, прямо на лбу выжжено: "я шпион". Может быть, даже из Си-Ай-Эй... Больше всего я боялся, что он мне руку протянет... Ну тут бы я ему показал... И загар такой, будто живет круглый год в Ницце... Как представишь, что мы платим налоги только для того, чтобы эти типы могли разъезжать по курортам и за коктейлем обдирать свои грязные делишки... Я ему сразу заявил, что мне от него ничего не нужно и для него я тоже делать ничего не собираюсь... Он пробовал меня и отсюда и отсюда... Потом все же вручил какой-то адрес в Москве... На тот случай, если понадобится что-то передать... Мерзость, конечно, пользоваться их услугами, но если...

— Чарльз! Вы меня еще не знаете. У меня душа — чернее мундира этой тетки. Сердце — из камня. К страданиям налогоплательщиков сочувствия никакого. Я способна пожать руку директору Си-Ай-Эй. Меня нельзя допускать в общество настоящих ученых. Я реакционное отребье, мое место на свалке истории. Дайте мне этот адрес!

— Хорошо-хорошо... Не волнуйтесь так... Где же я его записал? Нет, не думайте, все зашифровано. Написано Балтимор, но на самом деле это Москва. Дальше как будто фамилия, но на самом деле тоже что-то другое... Мистер Гудлав — что бы это могло быть?.. Улица? Улица Добролюбова?.. Да, звучит похоже, я припоминаю... Дом и квартира тоже зашифрованы: чтобы получить правильные, надо отнять от ста... Дальше слово "гранаты" — это пароль... Нет, не фрукты... И не оружие... Что-то, мне помнится, связанное с книгами... с энциклопедией... Энциклопедия товарищества Гранат — точно. Вот видите, как это просто. Любой может зарабатывать шпионским ремеслом, большого ума не надо...

Генерал Скобелев под Шипкой—Шейново мчался, откинувшись в седле, не обращая внимания на горы заснеженных трупов.

Казачьи Ермаки поливали картечью безрассудно сгрудившихся татар.

Суворовские чудо-богатыри скатывались по склону альпийского ледника, чтобы защитить бедных итальянцев, не от-

дать их захватчикам французам, оставить под властью добрых австрийцев.

Стараясь все же не поддаться этому мажорно-победному настроению, повеселевшая Лейда вела Силлерса по анфиладе залов, крепко держа его за локоть, шепча в склоненное ухо последние торопливые наставления — ни дать ни взять, профессор, которому предложили отбарабанить университетский курс в пятнадцатиминутной лекции.

— Во время допроса я поняла одно: они уже не столько за мной, сколько за вами... Да-да, вы им уже интереснее, чем я... Что вы там писали в письмах? Я же предупреждала вас: почта — только для поздравлений и соболезнований... Короче: я умоляю вас, прервите свою поездку... Да, прямо сейчас... Позвоните для виду в Англию и скажите в "Интуристе", что дома несчастье или что фирма требует срочно назад. Вам дадут улететь. Потому что полицейская машина здесь очень громоздкая, вязнет в собственных секретах... Та лапа, что поджидает вас в Таллине, не станет делиться добычей с ленинградской лапой. Уверена, что они не предупредили местных насчет вас. Только на этом еще и можно играть. Ну не увидите вы несколько десятков церквей, броневиков, крейсеров, мраморных надгробий. Памятные литературные места: здесь убили Пушкина, здесь ждал казни Достоевский, тут повесили Рылеева, тут покончил с собой Есенин, здесь Раскольников зарубил двух женщин, а Рогожин зарезал Настасью Филипповну... И главное, не требуйте денег за поездку назад.

Он кивал послушно и обалдело, но она все еще не была уверена в том, что до него дошло и его можно перевести хотя бы на второй курс, — продолжала шептать на ходу.

— Улетайте, если не для себя, то ради меня. Мне не нужно тогда будет прятаться в больнице, подводить друзей... И про эту встречу они не узнают, если все сойдет гладко... Вы не приехали, значит, — я не нужна... То есть не нужна в данный момент, но могу понадобиться в будущем как приманка для вас... А это значит: на какое-то время я в безопасности... Во всяком случае не арестуют до поры до времени... И еще... Сейчас мы зайдем за "Ивана Грозного" и я суну вам в карман несколько листов... Это что-то вроде реферата по моей работе... Написано по-английски, так что вы всегда в случае обыска можете сказать, что это ваши заметки... Уезьте хотя

бы их — для меня это будет большим облегчением... Нет-нет, смотрите только на "Ивана". Разве вам неинтересно, какое лицо бывает у человека, перебившего миллион своих послушных подданных?..

Они уже почти завершили круг и вернулись к вестибюлю, когда из боковой двери на них выбежал Илья, — то утыкающийся в каталог, то наставляющий на картины сложную из пальцев рамку, то списывающий названия в блокнотик.

— Он через два зала... Идет сюда... Кончайте, кончайте...

Сквозь стиснутые зубы английские слова протискивались в таком уже искаженном виде, что только Лейда смогла понять их. Она притянула голову Силлерса, чмокнула его в щеку — "спасибо за все, за адрес, улетайте, даст Бог — еще увидимся, Ильюша, и ты тоже — завтра домой", — и быстро пошла прочь, обогнула вливавшийся с грохотом отряд заезжих экскурсантов, исчезла за колоннами.

Это было так хорошо — снова, после стольких месяцев видеть маму — пусть хоть ненадолго — такой счастливой, что Илья почувствовал, как комок в горле начинает рассасываться, как предметы и люди вокруг оборачиваются своей лучшей стороной. Экскурсанты больше не казались такими стандартно-равнодушными, отбывающими музейную повинность, жара на улице приятно ласкала кожу, хлорофосный запах с деревьев — последствия газовой атаки на гусениц — улетал прямо в небо, не достигая ноздрей, зубастый и лохматый Силлерс приветливо обнимал за плечи, и даже ожесточенное беспокойство на лице тащившегося сзади шпики могло быть отнесено, скажем, на счет внука или внучки, лежащих дома в тяжелой вирусной ангине. И в этом состоянии облегчения, довольства, гордости собой, так легко было, отведав симпатичного иностранца обратно на безопасно утоптанную интуристовскую тропу и попрощавшись с ним (все же без поцелуев можно было бы и обойтись), — так легко было вернуться к телефону-автомату в вестибюле, опустить в него скользкий от пота медяк, набрать номер и сказать весело и непринужденно:

— Ну что, все сортируешь слова? Хрипы, шорохи и стоны? Вырваться не сможешь? А то я освободился раньше, чем думал, а завтра уезжать. Пошли бы куда-нибудь или за город съездили... Или домой сначала... Потому что теперь у меня

тоже заноза — хорошо бы вытащить...

— Ого, — сказала Виктория. — Ай да братец. Ай да храбрый. Но уж больно долго ты собирался. Так что извини — сегодня не смогу. Тут у нас компания, вечеринка, то да се. Если ночевать не приду, не волнуйся. Вообще же я за эти дни столько навывнималась всяких заноз, хорошо бы и отдохнуть. Целую на всякий случай, счастливый путь. Кланяйся своим в Таллине.

В обратную, в худшую, в черную сторону все предметы закрутились не медленно и плавно, а с омерзительными рывками, щелчками, стуками.

Стало больно и горячо лицу.

Запах мочи и курева наполнил будку.

Спускавшаяся по лестнице заграничная старуха с голубыми волосами вдруг остановилась, глубоко засунула в рот два пальца и с громким чмоком вогнала на место соскочившую челюсть.

В довершение всего по вестибюлю проплыл радиоголос, призывавший к телефону некоего мистера Флинграма, и вислогубый шпик, мозоливший глаза весь день, радостно вскинулся и затрусил по диагонали к протягиваемой ему трубке.

Продолжение в следующем номере.

Отдельным изданием книга И.Ефимова "Архивы страшного суда" (300 стр.) выходит в 1982 г. в издательстве "Эрмитаж".

Цена книги — 12 долларов, включая пересылку.

Цене в магазине — 10.50.

Заказы и чеки высылать по адресу издательства "Эрмитаж":
2269 Shadowood, Ann Arbor MI 48104, USA.

С.Ш.

НОЧНОЙ ТРАМВАЙ

Леве Г., с любовью.

...Была ночь. Два часа ночи, если в Риме вообще бывает ночь. Я стоял возле вокзала "Терminus" и ждал трамвая. Ночные трамваи во всем мире ходят редко.

Через дорогу, на углу, проститутка жгла ящички, выброшенные из магазина, и грелась возле огня. Прислонясь к стене, я смотрел на нее. Пламя от сухих ящичков поднималось до второго этажа, обхватило весь угол дома. Никто, даже курсировавший изредка полицейский, не обращал на это внимания. Иногда она подбивала ногой горящий ящик, и тогда искры уносились в ночное небо. Она смеялась. На ней было совершенно невидимое платье и яркие розовые трусы под ним. Время от времени она, как солдат, вышагивала вдоль тротуара, стуча высоченными платформами-кирпичами. Ей было холодно, и она танцевала.

— Эй! — крикнула она мне и сделала жест рукой, мол — давай, подваливай, чего рот открыл.

Я улыбнулся.

Она опять толкнула ногой догорающий ящик.

Клиентов не было. Светилась открытая дверь закусочной. Там тоже было пусто.

Я зашел и купил "горячую собаку" — булку с сосиской. "Собака" была мертвецки холодная и застревала в горле.

Последний ящик догорал. Девушка еще раз пнула головешки ногой и залезла в крошечный клопик-фиат, стоявший тут же на углу. Клопик начал вздрагивать, тарахтя мотором, но не заводился. Тогда девушка вылезла, зло хлопнула дверцей и пнула ногой колесо.

— Эй! — опять закричала она мне и помахала рукой, мол — подойди.

Я подошел. Она начала что-то быстро говорить, показывая на фиат и стуча по крыше кулаком. Девушка была длинная, сухая и вылинявшая, как застиранное полотенце. Я понял, что надо толкнуть и приготовился, взяв недоеденную сосиску в зубы.

Девушка опять сложилась в три раза и залезла в фиат. Я толкнул, и он покатился под уклон, рывкнув на прощание выхлопной трубой.

Вернувшись на место, я прислонился к стене и стал смотреть в ночь. Ночь была прохладная, красивая и чужая. На тротуаре сидя спал пьяный.

— Вот, хотя бы ради этого, я и хотел увидеть мир... — произнес голос.

Я вздрогнул. Мне показалось, что кто-то подслушал мои мысли.

— Я им не килька в банке, которую можно, когда захочешь, откупорить и слопать под водку, — продолжал голос. — Я человек и имею на это право...

Речь была русская. Я обернулся. Парень и девушка разговаривали. Он — щуплый, с копной волос, а она полненькая. На мгновение мне почудилось, что в двух шагах от меня стоит мой брат Борис, так они были похожи. Но это продолжалось лишь мгновение. Борис был выше и гораздо старше...

— Привет! — сказал я, подходя.

Ребята замолчали и посмотрели на меня.

— Давайте знакомиться, — сказал я.

— Лева, — сказал парень и протянул худую нервную руку. — А она Рита, — добавил он.

Девушка приветливо улыбнулась.

— Откуда? — спросил парень.

— Из Москвы, — сказал я. — А вы?

— Я из Минска, а она из Риги, — сказал Лева. — Давно в Риме?

— Две недели.

— И куда направляетесь?

Я не успел ответить. Подкатил ритин трамвай.

— До свидания, — сказала она и укатила.

— Позвони, — крикнул он ей вслед, и мы остались одни.

— В Штаты направляетесь? — опять спросил Лева.

— Да нет, — сказал я, — только вот до Рима и обратно.

— То есть, как обратно? — не понял он.

— Я по другой визе, — сказал я, — по туристской...

— С советским паспортом? — недоверчиво спросил Лева.

Я кивнул. Лева замолчал.

— Простите, а вы еврей? — помолчав, спросил он.

— Еврей, — сказал я, — и можно без простите...

— Стран-н-но... — протянул Лева.

— Бывает, — усмехнулся я.

— Бывает, что и колбаса стреляет, — недружелюбно ответил он, — но она все-таки не стреляет... В командировку приехали?

— Да нет, — сказал я, не обращая внимания на неприветливость его тона, — нигде я не служу, не бойтесь...

— А мне бояться нечего, — с вызовом ответил он, — я и там не боялся, а здесь тем более...

— У меня жена иностранка, потому и удалось попасть сюда, — сказал я.

— А-а-а... — протянул Лева. — Тогда другое дело. А то я уж подумал...

— Понятно, — рассмеялся я, — не вы первый.

— Так вы что, прямо из Москвы по советскому паспорту? — теперь уже с интересом спросил он.

— Прямо по нему.

— Здорово! Еврей, по советскому паспорту и прямо в Риме!.. Ну как там?

— Где?

— В Союзе, конечно.

Я пожал плечами.

— Никак. Как всегда. Ничего нового. А вы давно здесь?

— Скоро год, как из Минска вылетел.

— Я в Минске тоже года три прожил. Меня туда после института работать отправили.

— Ну!? — радостно встрепенулся Лева. — Здорово! Где работали?

— На тракторном.

— А я архитектурный кончил, — сказал он.

— Леньку Гуревича не знали? — спросил я.

— Знал, конечно...

Мой собеседник оживился. Он даже начал подпрыгивать на одной ноге от возбуждения.

— А вы его откуда знаете? — спросил он, не переставая прыгать.

— Мы с ним из одного города. В школе вместе учились.

Лева совсем зашелся от счастья и принялся хлопать меня по спине, как старого друга.

— Здорово! Вот так здорово!.. — повторял он. — Знаешь, как его однажды арестовали? — рассмеялся Лева, переходя на ты.

— Кого? — не понял я. — Леньку?!

— Ну да! Пришили попытку изнасилования...

Я представил себе краснеющего от любой грубости Леньку, которого мы за застенчивость и сверхвежливость прозвали "Графом", и тоже рассмеялся.

— Да он же к женщинам близко подойти боится! — сказал я.

— В том-то и смех, — сказал Лева. — Тогда какая-то важная делегация в Минск приехала. Кто-то из никсоновского окружения. Так вот, чтобы мы не совались со своими еврейскими делами и не портили антураж, нас всех, активистов, и подчистили. За мной прямо утром пришли, а Леньку на улице взяли. Какая-то баба начала вопить, что он к ней пристаёт,

и тут же, случайно, как ты понимаешь, из подворотни милиционер вынырнул и свидетели нашлись.

— Идиотизм какой-то, — сказал я. — Это что, прямо на проспекте Сталина?

— На нем, только теперь он уже проспект Ленина. Продержали нас по пятнадцать суток, пока гости не укатили, а потом выпустили. Но я им тоже нервы попортил, будь здоров. Объявил сухую голодовку...

— И что из этого вышло?

— Ни черта, конечно, но все же приятно. Пусть знают, что мы им не тютти...

За несколько минут разговора мой собеседник как-то переменялся, ожил что ли. Стал выше, шире, увереннее в себе...

— Мы дети Хрущева, — весело продолжал Лева, — нас на мякине не проведешь. Хотел он того, или не хотел, а дело сделал великое. На слово мы уже никому не верим, нам дай пощупать...

Да, — сказал я, — они уже не те, что прежде...

— В том-то и дело, — подхватил Лева, — не такие железобетонные. Сажать — сажают, но без энтузиазма... По службе, так сказать. Был у меня однажды такой случай. Попал я в одну пьяную компанию. За столом сплошные "мальчики в штатском" и я — затесавшийся еврей, — усмехнулся Лева. — Набрался я, видимо, здорово, и меня за язык потянуло. Слушайте, — говорю, — кто вы, — это и козе ясно, так неужели, если я сейчас, например, ляпну, что Брежнев дурак, вы все хором помчитесь на меня доносить? Поверишь? — продолжал Лева, — "мальчики" аж взвыли от удовольствия, оскалив зубы. А когда успокоились, один говорит мне: нет, не помчимся. Ты, говорит, ошибаешься по двум пунктам: во-первых, эту новость мы и без тебя знаем, а во-вторых, что важнее, если потребуется на тебя дело завести, то мы его и без твоих слов состряпаем...

Лева рассмеялся.

— И донесли? — спросил я.

— В этом-то и самое удивительное. Похоже, что действитель-

но не донесли!.. Как, а?

— Неплохо... Со мной тоже аналогичная история была, — начал я, собираясь рассказать свою, но Лева меня не слушал.

— Это еще что, — не останавливался он, — вот когда меня за баптизм потянули...

— За баптизм?

— Ну да...

— Ты что, баптист? — удивился я.

Лева расхохотался и начал излагать очередной случай из своей жизни, но в это время загромыхал подходивший трамвай.

— Это твой, — сказал я, перебивая.

Лева заколебался. Уходить ему явно не хотелось.

— Ладно, — сказал он, махнув рукой, — на другом доеду... А ты, значит, прямо из Москвы?! Здорово...

— Где сейчас Ленька Гуревич? — спросил я.

— В Минске. Он пока двигаться не собирается, у него своя точка зрения. Считает, что надо и оттуда сюда мосты наводить, не только наоборот. Все дело в информации, понимаешь. А то ведь люди темные, как пивные бутылки. Если бы народ знал язык, ну, скажем, английский, тогда другое дело. Всего не заглушишь... Мы с Ленькой даже систему разработали...

И он начал темпераментно, подпрыгивая на одной ноге, излагать свою систему, как в срочном порядке научить всю Россию говорить по-английски. А я думал о Леньке Гуревиче. В школе мы с ним были друзьями и тоже составляли проект всемирного правительства. На меньшее мы не замахивались...

— Что скажешь? — дернул меня за руку Лева, требуя ответа.

— Отлично, — сказала я.

— Так это еще не все... — начал он, захлебываясь.

Его, видимо, понесло. Он даже стал пускать пузыри. Прильнув ко мне вплотную, он принялся что-то с жаром пояснять.

Пьяный проснулся, без интереса посмотрел на нас и устроился поудобнее на тротуаре. В закуской напротив погас свет. Где-то в ночи глухим колокольным звоном три раза пробили часы...

Голос Левы доносился откуда-то сверху. Он делал косми-

ческую дугу, отражался от звезд и, смягченный их мерцанием, возвращался обратно.

— Письмо в ЦК написали, — выпаливал Лева. — Картину нарисовали гран-н-ндиозную. К Олимпийским играм каждая официантка сможет говорить по-английски. Престиж на весь мир. Пару цитат из Ленина, конечно, сунули. Никаких подводных камней...

Лева принялся атаковать меня по всем правилам ближнего боя. Он то отпрыгивал, то опять приближался. Видно, он давно исстрадался по возможности высказаться перед "понимающим" человеком, и теперь валил на меня все сразу, потоком...

А я смотрел в темное римское небо. Сколько путей скрещивалось под этим небом, думал я, сколько видело оно под собой судеб — великих и малых, горящих и затухающих, гениев и бродяг. Может, за тем закопченным проституткой углом стоят сейчас в обнимку и хохочут вечные наши спутники — трагедия и фарс...

Голос Левы подбирался к взрывной точке. Возле него уже трудно было стоять — от него несло жаром, как от печки.

— И что ты думаешь?! Ключуло! — закричал он так, что пьяный вздрогнул. — Бескровная революция! Понимаешь! — кричал Лева. — Все было бы, как надо, если бы не одна зацепка...

Загромыхал еще один трамвай. Это был мой, надо было садиться, но Лева его не слышал...

— Ну вот, — сказал я, — это мой.

Лева споткнулся на полуслове...

— Давай прощаться, — сказал я, протягивая руку.

Он будто очнулся, возвращаясь в реальность. Плечи сразу опустились.

— Холодно, — виновато сказал он и поежился.

Моя рука висела в воздухе. Лева смотрел себе под ноги и молчал. Я тоже молчал.

— Послушай, — вдруг тихо сказал он, не поднимая головы, — можно я тебя провожу?..

В его голосе была просьба.

Стало вдруг тревожно на душе. Повеяло одиночеством. Огромный ночной город показался еще более чужим и далеким. Захотелось обнять своего спутника, сказать ему что-то теплое...

— О чем речь! — как можно веселее, сказал я. — Конечно, можно... Только это у черта на куличках. Оттуда потом не выберешься...

— Неважно, — востепенно сказал Лева. — Я могу пешком, я привык...

...Мы были одни в ярко освещенном трамвае и сидели рядом. А за окном плыла ночь Вечного города. Какие-то чиповые парни с ведром мазали красной несмываемой краской серпы и молоты на древней базилике. Вдоль дороги горели костры, высвечивая силуэты греющихся возле них проституток. Иногда город вдруг обрывался, окуная нас во тьму и уступив место величественным развалинам. И тогда казалось, что история веков опускается на нас. Стоит только выйти в ночь, и ты услышишь рев толпы, рыкание львов, громы колесниц, увидишь первых иудеев, гонимых на суд за христианство... Но также внезапно город опять возникал, отбрасывая историю назад.

Мы молчали.

— Хорошо здесь, — задумчиво сказал Лева.

— Где? — не понял я.

— Здесь, в трамвае. Помнишь у Хемингуэя есть рассказ "Там, где чисто и светло".

— Брось, — сказал я и обнял его за плечи. — Хемингуэевский старик был одинокий и больной, а мы с тобой еще не такие старые...

Лева смутился.

— Ночь в Риме! Когда-то я об этом и мечтать не мог... — сказал он.

— Значит, все отлично, мечты сбываются... — бравым голосом сказал я. — Нравится тебе здесь?

— Да, — сказал он, но как-то нетвердо и опять замолчал.

Его молчание угнетало меня. В нем была глухая тоска. Нас качало, прижимая друг к другу, и мы смотрели в окно...

— Ты здесь один? — спросил я, нарушая молчание.

— Один, — сказал Лева. — Мама с сестрой осталась...

Мне хотелось спросить, почему он не поехал в Израиль, но какая-то неловкость была в этом вопросе. И будто угадав мои мысли, Лева тихо сказал:

— Сам не знаю, почему я не поехал в Израиль... Может, потом...

Мы опять замолчали и долго смотрели во тьму...

...Трамвай загромыхал на стыках, делая кольцо, остановился и погас. Это была конечная.

Мы вышли. Огромный город остался позади, уступив место Италии. Редкие фонари не могли справиться с красотой ночи и только нарушали ее. На фоне звездного неба, гордо изогнувшись, летел силуэт древнего виадука. Мы стояли и смотрели в ночное небо...

— Ну, — вздохнул Лева, протягивая руку, — я потопал...

— Не валяй дурака, — сказал я. — Куда ты пойдешь ночью. У меня переночуем. Правда, удобств никаких — раскладушка и два стула. Один итальянец, приятель по МГУ, дал ключи от своей новостройки. Он еще туда не въехал.

Лева заулыбался.

— Ерунда, — сказал он голосом бывалого бродяги. — И не такое видали. Что нам капиталистические неудобства!

И мы пошагали к темнеющей вдаль шестнадцатизэтажной громадине. Лева повеселел и стал опять подпрыгивать на одной ноге.

— Тут дело одно наклеивается, — сходу набирая темп, начал он. — Я с одной итальянской семьей познакомился. Старички, лет за восемьдесят каждому. Так вот, у них сын воевал в России и пропал без вести. По слухам, лет пятнадцать назад он еще был жив и сидел в лагерях, где-то на острове Врангеля. Понимаешь?

— Не очень, — сказал я.

Лева перестал прыгать и уставился на меня.

— Вытащить человека надо, понимаешь?!

Я посмотрел на его взлохмаченную голову, и мне показа-

лось, что глаза у него светятся, как угли. Но я действительно ничего не понимал.

— Давно ты с этими старичками познакомился? — спросил я.

— Недавно, — сказал он.

— И они просили тебя помочь найти сына?

— Нет, просто рассказали эту историю, когда мы чай пили.

— А сами-то они его искали?

— Сразу после войны искали, а потом нет...

Я не знал, что ответить.

— Ну, — опять начал Лева, — понимаешь?! Ты бы мог здорово помочь, ты же там будешь, в конце концов и на остров Врангеля махануть можно. Как, а?

— Да, конечно... — протянул я.

Но Лева ничего в моем голосе не заметил и стал бурно развивать теорию, как спасти итальянца. А я шел и думал о слышанных мною где-то словах, что тонкость души, как и талант, это не дар Божий, а Божья кара. Бог возлагает эту кару на избранные им души, чтобы они несли ответственность за душевную глухость миллионов. Зачем же Он так щедро наградил этой карой мой народ, думал я, разве нам недостаточно и своей судьбы?!..

...Мы лежали, прижавшись спинами друг к другу на узкой раскладушке, и старались не шевелиться, чтобы не потревожить один другого. Я не спал. Сна не было. Я думал о Леве, о своем брате, о наших судьбах... Где-то внутри тоскливо выла собака. Этот вой был протяжен и глух, как далекий зов предков. И вдруг озноб прошел по мне, стало холодно, нестерпимо холодно. Захотелось в пустыню, чтобы раскаленный песок жег подошвы, чтобы солнце слепило глаза, заливая их потом. Казалось, вот сейчас исчезнет последняя родная душа — Лева, — и я останусь один, навсегда один, последний из тех заблудившихся, кто вот уже две тысячи лет блуждает по каменным лабиринтам чужих историй и не может найти свою...

Ощущение одиночества было столь реальным, что я плотнее прижался к Леве.

— Спишь? — тихо спросил он.

— Нет, — сказал я.

Он заерзал и приподнялся на локтях.

— Парень, наверное, пропадает... — тихо заговорил он. — Представляешь — остров Врангеля, арктический холод и вышки... Ужас!..

Озноб не оставлял меня. Я встал, подошел к окну и закурил. За окном начинался ласковый итальянский рассвет. Здесь, на краю города, все казалось таким же, как и тысячи лет назад. До самого горизонта зеленели холмы, а над ними, в колеблющемся воздухе, парил римский виадук...

Лева сидел на раскладушке, свесив худые ноги. В трусах он вообще выглядел цыпленком.

— Пойми, — сказал я, помолчав, — то, что было там, — это уже не твоя судьба...

Мне хотелось еще многое сказать ему, о чем я думал ночью, но больше я ничего не сказал... не хватило смелости... да и имел ли я на это право?!..

Лева сидел подперев голову рукой и смотрел вниз, шевеля голыми пальцами.

— Когда ты уезжаешь? — спросил он.

— Сегодня, в одиннадцать сорок... — сказал я.

Лева вздохнул,

— Жаль, — грустно сказал он, — а то бы мы с тобой... вместе было бы лучше... — он поднял голову. — А, может, останешься, а?

Я долго гасил сигарету, обжигая пальцы. Потом подошел и сел с ним рядом. Теперь мы оба сидели голые на шаткой раскладушке и смотрели в пол...

— Холодно, — сказала я.

Лева обнял меня за плечи.

— Кто у тебя там? — тихо спросил он,

— Мама... — сказал я, — и брат... Он очень похож на тебя...

Лева невесело улыбнулся.

— Ты мне тоже здорово кого-то напоминаешь...

...В аэропорту мы обнялись, и я пошел. Он все же вырвал у меня обещание поискать итальянца. Когда я уже прошел та-

моженный барьер, Лева закричал:

— Если увидишь Ленку Гуревича, скажи ему...

А что сказать, я не расслышал из-за репродуктора, который начал объявлять посадку. И возвращаться назад я тоже не мог — было бы еще тяжелее прощаться...

На душе было пусто и тревожно, но не от взлета, а от чего-то другого. Прижавшись лбом к иллюминатору, я долго смотрел вниз. Под нами плыли сплошные белые облака. Они сверкали на солнце и были похожи на снежные горы первобытной земли. И вдруг безумная жажда свободы охватила меня. Захотелось выпрыгнуть из самолета, окунуться в эти снежные облака и, кувыряясь, помчаться по ним в века назад — в свою историю...

К СВЕДЕНИЮ ИЗДАТЕЛЬСТВ, КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Редакция журнала "Время и мы", который широко распространяется в большинстве стран мира, принимает для публикации коммерческие объявления.

Цена объявления размером в страницу — 90 долларов, повторно — 75, более трех раз — 60 долларов.

Размером в полстраницы — 50 долларов, повторно — 40, более трех раз — 30 долларов.

Объявления и чеки присылать по адресу редакции журнала "Время и мы".

ПОЭЗИЯ



Эдуард ШНЕЙДЕРМАН

ПОГРОМ

Старое,
 доброе,
 где же то
Время политики "Бей жидов!"?! —
Сапогом — в морду,
 ломом — в живот.
Развели либерализм —
 и вот:
В институты лезут,
 прут в профессора.
Гада сиониста
 осадить пора!

(Соло черносотенца у пивного ларька
50 лет спустя)

...И было видение:
 блеск меча.
 И было:
 на пьяном коне пронесся,
 Яростно
 нехристей
 в прах топча,
 Георгий Победоносец...
 И было —

 1
 Киев, Белосток...
 Случай
 Не нов.
 Черной сотней
 Кишел
 Кишенев.
 В Кишеневе
 Бушевал
 Крушеван,
 "Истинно-русский"
 С компанией бухих хоругвеносцев.

*

"Парень,
 што ты сидишь — не пьешь?" —
 "Крови напиться мне бы!"
 Иконки — к стенке,
 В руку — нож.
 "Режь!" —
 Утроба требует.

*Пришел городской "бляха № 148", уселся на тумбу и
 уставился в небо, где занималась заря.*

*

Синим утром
 С неба — гром:
 Черносотенный погром.
 Куда бежать?
 Некуда деться!
 Черный крылатый гром,
 Огромный,
 В полнеба
 Висит
 Над еврейским кварталом.
 А лабазник вопит:
 "Мало!
 Ломай
 Лавку!
 Хватай
 Девку!
 Тащъ
 В сарай!
 Устроим жидам рай!"

Ярь
 растет,
 Ряв
 Ражих:
 "Вздернем на реи
 Всех рыжих евреев!
 Бей их!
 Чаво Христа распяли!"
 Взвыло
 Рыло
 Дворника с обрезом:
 "Братцы,
 А Христос —
 Обреза н?!..
 Он же — ихний!
 Бей жида-Христа!

И с у с? —
 Исер,
 Изька —
 Вот он кто!
 В жида
 Верили!..

*

Так рождались атеисты
 И секли Христа нагайками.
 Рассчитавшись с богом истово,
 Насобачили, нагадили.

*Городовой "бляха № 148", сидючи на своей тумбе,
 мечтательно следил за пролетающими нежно-розовыми
 облачками.*

2

Вышли — дворник с балалайкой,
 Поп с гармошкой — вперед,
 Прибауткой, песней, байкой
 Взвеселить честной народ. —

Уж мы пили, пили, пили,
 Удаль русскую копили.
 Выходили на врага —
 Д' заплелась с ногой нога.

Намахались острым ножичком
 Устали страсть.
 До чего святая ночка! —
 Поживимся всласть.

Кто не без башки —
 Запасай мешки,

Готовь загодя —
 Не под камешки, —
 Большие мешки —
 Под именишки,
 Малые мешочки —
 Под денежки.

Был я гол,
 Был я нищ,
 Сапоги без голенищ.
 Даром, что ли, по углам
 Перешарено! —
 Приоделся хоть куда, не хуже барина!

Подрались из-за рояли
 Две покрашенные крали:
 "Не замай! Нашла не я ль
 Эту звончату рояль!"

Запрягу в телегу Мойшу,
 Нагружу добра побольше.
 Ты вези меня до хаты
 Веселее, жид пархатый!"

Попрошайка Катерина
 Потрошит ножом перины.
 Вся в поту;
 В крови, в пере
 Перепачкалась —
 "Поп учил:
 у них в матрацах
 денег — пачками".

*

Над тряпьем бойцы хлопочут.
 Время пьяным ссорам.
 Мертвецы вокруг хохочут

Безголосым хором.
Мертвецы в крови лежат.
Страшно улыбаются.
В небе коршуны кружат.
Все как полагается.

*Городовой "бляха № 148" со своей тумбы любовался
закатными облачками цвета свежей крови.*

* * *

"Евреев убивали не сразу, а медленно.
Многие мучились до вечера.
Если кто, очнувшись от беспамятства,
приподнимал голову, шевелил рукой или ногой,
к нему подбегал кто-нибудь из громил
и принимался бить дубинкой по голове
и топтать сапогами.
Многие евреи
шевелились в луже своей крови
до вечера".

*(Рассказ очевидца о Белостокском погроме
1907 г. — А.М.Гольдштейн. Среди еврейства.
П., 1918, с. 54.)*



Юрий ИОФЕ

КВИНТЭССЕНЦИЯ

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

Ее обступили пузатые тресты.
Авто, как шлюхи, по ней снуют.
Но серые камни Лобного места
Крамольной крови, как прежде, ждут.

И Спасская башня хранит преданья
О том, как сквозь пепел разграбленных сел,
Сюда скакал — за дарами и данью —
Весь в конской пене ханский посол.

Сюда с челобитной ползли иностранцы,
Плелились богомольцы в чудесный храм.
И пушка развеяла прах самозванца
На волю всем четырем ветрам.

Вот здесь, у Кремля, под его зубцами,
Восьмью веками прошла в пыли,
Прошла беспмятством и чудесами
Слепая история Русской земли.

И все, что есть, все, что было Россией,
Рыдания дедов, гаданья невест —
Благославляет Блаженный Василий,
Над Лобным местом, поднявши крест.

1944

ФАБРИКА—КУХНЯ № 5

Рябые милиционеры с грубыми шеями,
С красными руками Малюты Скуратова,
Здесь набирают мясную мощь,
Пожирают украинский борщ.

Жилистые рабочие с запахом машины
Отхаркивают кости, как сгустки матерщины,
Дружной бригадой грызут хрящи,
Хлебают московские щи.

Тоненькие продавщицы из Дома обуви,
Современные, стильные, модные до одури,
Цедят, как лекарство, из ложек пустых
Один бульон на двоих.

Восточные студенты с нечистыми белками,
С говором, похожим на гомон океана,
Самозабвенно и горячо
Поглощают харчо.

И маленькие старушки, ютась неудобно,
Старые девы и сирые вдовы,

Узенькой щелочкой серых губ
Сосут молочный суп.

А повариха в белой мантии
На всех поглядывает, командуя.
Кому еще? Кому не нравится?
Свобода.
Братство.
Равенство.

1963

* * *

Щебечут птицы по-немецки
Среди пустот.
И точно в подмосковном детстве
Трава растет.

Июньский день, пустой и долгий,
И я один.
Стоит в лесу густой и волглый
Зеленый дым.

Я нынче болен, очень болен,
Я сам не свой.
Я очень болен горьким горем,
Глухой тоской.

Мне только желтая больница
На много лет.
Россия — там. Россия — снится.
России — нет.

1976

С H A L I D Z E P U B L I C A T I O N S

Н О В Ы Е К Н И Г И

<i>З. Фрейд.</i> Толкование сновидений.	15.00
<i>С. Булгаков.</i> Философия хозяйства.	15.00
<i>Б. Вышеславцев.</i> Кризис индустриальной культуры.	15.00
<i>Трубецкой.</i> Энциклопедия права.	15.00
<i>Ф. Ницше.</i> Так говорил Заратустра.	15.00
<i>Л. Копелев.</i> На крутых поворотах короткой дороги.	7.00
<i>Ю. Алешковский.</i> Синенький скромный платочек. Скорбная повесть.	7.00
<i>И. Кичанов-Лифшиц.</i> Прости меня за то, что я живу.	10.00
<i>С. Киркегор.</i> Наслаждение и долг.	15.00
<i>С. Киркегор.</i> Страх и трепет.	6.00
<i>Е. Гнедин.</i> Выход из лабиринта.	8.00
<i>А. Дюма.</i> Ожерелье королевы.	9.50
<i>Р. Орлова.</i> Последний год жизни Герцена.	6.00
<i>Л. Шатуновская.</i> Жизнь в Кремле.	15.00
<i>В. Буковский.</i> Письма русского путешественника.	12.00
<i>В. Чалидзе.</i> Победитель коммунизма.	7.00
<i>Б. Рассел.</i> История западной философии.	30.00
<i>О.И. Мейендорф.</i> Православие в современном мире.	12.00
<i>Г. Федотов.</i> Россия и свобода.	15.00
<i>Ф. Яноух.</i> Китай далекий и близкий.	7.00
<i>Грузинские блюда.</i>	6.00

Книги других издательств

<i>Л. Троцкий.</i> Моя жизнь. Моя жизнь.	20.00
<i>Л. Троцкий.</i> История русской революции.	30.00

Добавьте 50 с. за пересылку каждой книги

505 EIGHTH AVENUE, NEWYORK, N.Y. 10018

ПУБЛИЦИСТИКА.

КРИТИКА. СОЦИОЛОГИЯ



Савва ЖУКОБОРСКИЙ

НУЖНА ЛИ НАМ ВООБЩЕ ДЕМОКРАТИЯ?

Я долго собирался с силами и до сих пор не уверен, что эта публикация имеет смысл: в короткой статье не изложить концепцию, которую я вынашиваю уже лет десять. Изложить эту концепцию на уровне, который бы меня удовлетворил, нет ни времени, ни сил (пока, я надеюсь). Однако соблазн подлить масла в огонь дискуссий о наших социальных проблемах, о родной стране "зрелого социализма", из которой мы удачно бежали, не дает мне покоя, когда я читаю "Новое русское слово" и другие русскоязычные издания.

Начать с того, что далеко не каждому в СССР я бы советовал эмигрировать (предположим, такая возможность существует), хотя сам я ни минуты не сомневался в правильности своего решения. Бежать должен тот, кому нужна свобода не "от", а "для", не ОТ того, что тошнит от лжи и лицемерия, или не везет в жизни, или хочется жить красиво, "как другие", но нет возможностей, а ДЛЯ того, чтобы уви-

деть реализованными плоды своего творчества, чтобы биться за самоутверждение, но не в заранее проигранной игре. Иначе говоря, бежать должен тот, кому нужна действительно свобода.

Но что же такое свобода? Современные марксисты предпочитают пользоваться определением Ленина: "Свобода — это осознанная необходимость" и забыть даже Энгельса, который куда более удачно определял философскую категорию "свобода" через категорию "возможность". Действительно, свободы может быть больше или меньше в зависимости от числа имеющихся возможностей. Необходимость же ограничивает число возможностей и тем самым ограничивает свободу. Необходимость — это законы физические и законы общества, это социальные нормы, правила, требования и ограничения, которых невозможно избежать. Не может быть общества без социальных норм и без обязательств, которые оно накладывает на каждого своего члена. Будь то Америка или Россия, или полинезийское племя, живущее в каменном веке, — человек должен говорить на понятном для окружающих языке, растить детей, не убивать и не насиловать соплеменников (по крайней мере, в мирное время). Стабильное общество должно кормить стариков и детей, лечить больных и учить детей. Поэтому та или иная форма налогов, т.е. отторжение части произведенного продукта, — необходимость. Лозунги Ленина, например, отражали точный психологический расчет: идеология революции — это предмет веры, а не разума, и, чем красивее этот предмет веры, тем он привлекательнее. Все призывы любой революции к "освобождению" народа никакого реального содержания, кроме эстетического, никогда не имели.

Свобода в этом смысле, т.е. в смысле освобождения от необходимости, народу вовсе и не нужна. Более того, вредна. Ведь когда нет действующего закона или какого бы то ни было управления, — нет стабильности, нет уверенности в завтрашнем дне, нет покоя. Если бы не было правил игры, то и в футбол нельзя было бы играть. Когда управление не обеспечивает необходимой стабильности и порядка, народ нахо-

дит гитлеров, выдвигает Лениных и Сталиных. Будучи в Италии три года назад по дороге из Ленинграда в Америку, я особенно остро ощутил все это. Итальянскому "гегемону" подавай хоть Сталина, хоть Муссолини — только освободи от ответственности за свою судьбу. Об этом кричат разрисованные коммунистами и фашистами стены вечного Рима. В действительности, логический смысл может иметь призыв к усовершенствованию управления, но никак не к свободе от управления.

Но есть другая, истинная свобода. Свобода не "от", а "для", свобода творить и управлять, т.е. влиять на других непосредственно через социальную организацию или через культуру. Это — то, что называют свободой самовыражения, самореализации. Это и есть та свобода, которую великие социальные философы рассматривали как высшую ценность общества... и неправильно делали. Неправильно, потому что абсолютному большинству членов любого общества эта свобода творчества вовсе и не нужна, потому что абсолютное большинство членов общества творить не способно, не умеет, не хочет. А если хочет, то рисковать "синицей в руке" боится.

Если рассматривать любое общество не как единую однородную массу, некий "народ", как это делали философы, а как сообщество индивидов с принципиально разными психологическими свойствами, как оно есть в действительности, то многое станет более ясным. Психологическая неоднородность, о которой я говорю, — это биологическое свойство человеческой популяции, унаследованное от животных предков. Великолепные исследования современных этологов, в числе которых лауреаты Нобелевской премии Конрад Лоренц и Николо Тинберген, открыли, а точнее, еще только подошли к описанию механизмов управления в животных популяциях с их иерархиями власти, борьбой за лидерство, доминирование и сохранение социального ранга. Для того чтобы популяция выжила, сохранилась в борьбе за экологическую нишу, т.е. за место под солнцем, она должна была хорошо управляться: лучше, чем другие, невыжившие. Этому как раз и служит иерархическая социальная структу-

ра, или иерархия власти. Но чтобы такая иерархия могла возникнуть в животной популяции, природа должна была позаботиться, по крайней мере, о двух свойствах популяций этого типа: чтобы власть (влияние на других) была принята, предпочтительна всем индивидам от природы — для участия индивидов в борьбе за высшие ранги, — и, с другой стороны, чтобы индивиды были неодинаковыми, т.е. более или менее способными и страждущими осуществлять власть, доминировать. Если бы не было последнего, драка за власть никогда бы не могла прекратиться. Такие популяции бы неминуемо вымерли, став жертвой внешних врагов или изменившихся природных условий.

Таким образом, механизм социального структурирования некоторых животных популяций оказался генетически закрепленным: в каждом поколении индивиды, наиболее способные осуществить лидерство, захватывают власть, иерархия заполняется и большинство членов популяции охотно подчиняются лидерам.

Этот генетический механизм полностью унаследован человеком. В человеческом обществе совершенно независимо от социального положения родителей рождается небольшой процент индивидов, способных и мотивированных от природы творить, нарушать и изменять социальные нормы, влиять, вести за собой, — назовем их биологической элитой или биологическим активом, — и большинство: нормальные люди, обеспеченные твердой властью, предпочитающие стабильность, уверенность в завтрашнем дне и защищенность заманчивым обещаниям борцов за усовершенствование общества; чаще ищущие лидера, но не конкурирующие за лидерство, связанное с ответственностью за себя и за других; готовые при некоторых обстоятельствах драться до смерти за общую идею, но неспособные критически осмыслить эту идею и противопоставить себя "всем".

Главная разница между животными популяциями и человеческим обществом в том, что человек-то в отличие от животных может передать своему сыну (преемнику) знание и

социальные связи, необходимые для управления, независимо от творческих способностей преемника. Это знание ранее накопленного опыта, аккумулирующее творчество многих, для управления человеческим обществом действительно важнее, чем способность самого одаренного человека найти (изобрести) лучшее решение. Очевидно, что для общества пещерного человека нужнее был тот, кто умел, знал, как разжигать и сохранять огонь, чем тот, кто, не зная, мог изобрести разжигание огня. С первым дело должно было быть надежнее. Это знание можно назвать управляющей культурой, и отношение к этой управляющей культуре является основой так называемой социальной стратификации, т.е. разделения общества на социальные слои, классы и т.п. (Последнее очень справедливо отметил А.И.Солженицын в своем "Архипелаге ГУЛАГ".)

Хорошо тому, кто родился со свойствами представителя биологической элиты в семье английского лорда или члена ЦК КПСС, или американского миллиардера — ему легко получить знание, необходимое для управления. Социальные связи родителей обеспечат ему легкий путь к самореализации и доступ к власти. Но лордов, членов ЦК КПСС и миллиардеров немного, и природных лидеров в их семьях рождается тоже немного — тот же маленький процент. Основная масса этого природно-биологического актива рождается равномерно в толще человеческой иерархической пирамиды, т.е. во всех социальных слоях. Это они, если отстранены от образования, создают преступный "антисоциальный" мир. Это они, получив образование, но не подпускаемые к кормилу власти, становятся диссидентами, критиками существующей власти, революционерами или изобретателями. Это им нужна свобода и не для чего-нибудь, а для того, чтобы как-то изменить мир, в конечном счете иметь влияние на других, а это любая централизованная власть считает своей прерогативой.

Обратите внимание, как бы благородно ни звучал мотив, толкающий к власти (улучшение всеобщего благосостояния, утверждение поруганной законности, прекращение дискриминации евреев или развитие новой научной теории), все

же это эгоистический мотив, в том смысле, что в нем превалирует желание заявить миру о себе.

Вовсе не обязательно, чтобы борьба была за непосредственное политическое влияние, на человечество можно оказать влияние и через науку, искусство, экономику. В той мере, в какой ученый, художник, изобретатель не затрагивает идеологию, т.е. нормативно-ценностную систему, используемую властью для социального управления, он в безопасности. Но идеология может догматизировать научные идеи и метод художественного творчества.

Католическая церковь не простила Галилею и Джордано Бруно гелеоцентрическую систему так же, как Сталин не простил С.В.Вавилову и сотням биологов генетику, Сыркину, Дяткиной и Волькенштейну — теорию резонанса (в химии).

Рисовать по-другому, чем принято лояльными членами Союза Советских художников, — это вызов социальной организации советских художников и защищающей их коммунистической партии. Это притязание на то, чтобы изменить их правила, а вместе с тем перераспределить роли (кто будет новатором, светочем, а кто — ретроградом, эпигоном).

И художники и ученые в Советском Союзе не раз оказывались врагами сформированных неумелой властью социальных институтов, а значит, — врагами самой центральной власти.

А народу-то что до них? Пользы никакой, а всякие изменения — так они к добру не приводят. "Бьют, значит, надо, значит, заслужили" — так и думать удобнее. Сталинская власть дала основной массе народа стабильность, уверенность и, между прочим, равенство. Да, одинаково нищие рабы, но ведь еще Вергилий писал, что рабство — это больше черта характера, чем социальное положение. Равенство как характеристика социального климата — это возможность быть и чувствовать себя не хуже других: соседей, друзей, сослуживцев в смысле потребления, продвижения по службе, уважения достоинства. И это Сталин обеспечил (для оставшихся в живых). Не зря ясноглазые парни в трикотажных футболках совершенно искренне распевали жизнерадостные песни

И.Дунаевского. Еще и сейчас, не считая разросшейся партийно-правительственной элиты, раньше скрытой от взоров, а теперь все более заметной и самодовольной, уровень потребления основной массы населения несравненно более унифицирован, чем в некоммунистическом мире.

Американское общество вовсе не свободно от закона, от массы правил и предписаний. Более того, отсутствие централизованного регулирования (как в СССР) порождает часто еще более жесткое, чем в СССР, регулирование изнутри отдельных социальных институтов снизу. К примеру, Американская медицинская ассоциация (АМА) — это не только монополия, которая диктует законы, это организация, которая защищает каждого своего члена, обеспечивает ему стабильность и спокойствие, и потому активно поддерживаемая каждым членом. Думаю, что эта организация значительно более консервативна, чем Институт здравоохранения СССР. Свидетельством тому может служить отношение к акупунктуре и прочим древним культурам лечения; ей-богу, в России медицина терпимее к новому (или старому в этом случае). Но при всем этом в Америке не обязательно быть членом АМА, врач может существовать и вне ее.

Прелесть Америки в том, что при всей консервативности институтов и организаций здесь еще есть масса путей для самореализации личности, ищущей этой самореализации, например путем создания новой организации. Зато в Америке есть и ответственность человека за свое будущее, которую надо понимать и с которой надо мириться нормальному среднему человеку. И это создает для него значительное психологическое напряжение.

Я опускаю из рассмотрения сравнение уровней потребления в СССР и США — они несравнимы. Но этот показатель не столь и существенен. Важно, что славный представитель большинства в Советском Союзе с голоду пока не умирает и живет "не хуже, чем у других". В Америке же такой "большевик", если он на велфере или на неквалифицированной работе, потребляет много больше любого славного советского труженика, но при этом находится (и явственно чувствует себя) на дне социальной пирамиды, вершина которой для

него необозрима. Если это русский эмигрант, его социум — другие эмигранты, в том числе инженеры, молодые врачи и т.п., но и они очень далеки от него по своим возможностям, много дальше, чем в Союзе. Нет в его душе покоя и пожаловаться некому.

Итак, вернемся к началу. Кому уезжать, кому сидеть дома в России? Уезжать тому, кто знает "за чем", а не "от чего". Кто верит в свои силы и не боится ответственности за свою судьбу. Остальным лучше сидеть дома. (Все вышесказанное не относится к евреям и представителям других групп, подвергающихся в СССР геноциду. Им приходится бежать для самосохранения, для спасения детей. Мой анализ условно предполагает, что сталинская национальная политика не обязательна для советской власти.)

Бегущие из "коммунистического рая" чаще всего бегут от несвободы и тоталитаризма, бегут к демократии. Однако оказывается, что понятие "демократия" — столь же неопределенное, как и понятие "свобода".

Выше в этой статье я пытался показать, что советское правительство удовлетворяет основные чаяния абсолютного большинства населения страны. (Между прочим, это было подтверждено результатами вполне объективных исследований некоторых советских социологов, опубликованных лишь частично.) Удовлетворяет, но, конечно, гораздо хуже, чем это делал Сталин. Сталин с абсолютной последовательностью осуществил полную социальную и политическую стабилизацию страны. Для этого он обеспечил эффективную информационную изоляцию общества. Чтобы исключить какие бы то ни было внешние возмущения, он уничтожил или изолировал ту часть биологической элиты, которая не могла адаптироваться в предлагаемых условиях и могла явиться источником внутреннего социального возмущения. (В этом плане он, правда, несколько подкачал: критерии отбора, использованные им, нельзя считать совершенными. Так, кровное родство с "врагами", выискиваемое с помощью многолистных анкет, — скорее, дань его азиатскому опыту, чем результат научного осмысления.) Одновременно страхом и взаимной слежкой он перерубил каналы внутрен-

ней коммуникации и тем самым исключил какую бы то ни было возможность возникновения контрорганизации. Наконец, в 1937 г. он развил каналы социальной мобильности, уничтожив значительную часть партийно-правительственной бюрократии. Этим он открыл путь наверх той части народившегося биологического актива, которая могла адаптироваться, понять неписанные правила его игры. (Уж не знаю, сознательно или интуитивно делают это диктаторы, только культурная революция Мао Дзе-дуна имела абсолютно ту же социальную функцию.)

В результате Сталин создал твердую власть с ясными социальными нормами для народной массы, в том числе и не убей, и не греш, и трудись честно, и уважай власть, и верь в светлое будущее. И, если все это искренне и с верой будешь делать, будет тебе почет и воздаяние по заслугам. То, что для своих приближенных он делал некоторые поблажки, это неудивительно и несущественно — их было мало. То, что поубивал миллионы, — так опять же, не было хороших научно выверенных критериев — приходилось брать высокие коэффициенты запаса (так всегда инженеры поступают, когда не хватает точных знаний). Ну а роль нормативных ограничений вроде морали и т.п. или их отсутствие в политической игре еще Никколо Макиавелли подробно исследовал задолго до Иосифа Виссарионовича: у кого нет ограничений — тот сильнее.

Так или иначе, народная масса не хотела знать и поэтому, можно считать, не знала, какой ценой куплена социальная гармония. Зато вкушала равноправие, порядок и принадлежность к великой идее и силе.

Все эти "завоевания" послесталинские вожди прилично, если не разрушили, то поистрепали. Хрущеву бы спокойно поубивать товарищей по партии (за сотрудничество с люксембургской разведкой, скажем), так он вместо этого Сталина разоблачать. Культ разрушать — ну не глупо ли? Этаким почти раскольниковский либерализм. Вместо этого мог бы военный конфликт спровоцировать, а там уж и сам бог велел жертвовать, мобилизовывать бдительность, "напрячься, как струна". Ведь такая огромная система централизованного поли-

тического и экономического управления, если не под страхом смерти, так и не работает. У Сталина и то сбои бывали — то с продовольствием, то со снабжением. Для продолжения нужен был второй Сталин. Но откуда? Первый позаботился о том, чтобы на сотню миль вокруг не было второго подобного.

Один мой друг — генетик — рассказывал мне об опытах на крысах, в которых из группы изымали доминирующую особь. Очень часто ее место занимала особь весьма низкого социального ранга, которую прежний лидер оттеснял, "тритировал". Крысиные лидеры, таким образом, умеют распознавать конкурентов, но в отличие от человека ленинско-сталинского типа не убивают их. В итоге, не умея заставить работать экономическую систему под страхом смерти, начали торговлю с Западом — первая брешь в информационной стене. А там уж, чтобы получить кредиты, пришлось играть в поддержку свободы информационного обмена: радио, туризм, деловые поездки начались. Все это само по себе еще было бы не так страшно. Западное радио и сейчас, я совершенно уверен, слушает или слушало бы, если не глушили бы, лишь меньшинство населения. Большинство слушать не хочет — ни к чему. Страшно для системы то, что меньшинство, которое слушает, сопоставляет и сомневается в ценности великой идеи, не уничтожается физически или не изолируется в крайнем случае. В итоге ценность великой идеи погибла. Страха настоящего "рабочего", т.е. работающего на разобщение, разъединение людей, тоже нет. Отсюда социальные группировки, диссиденты — источники внутреннего социального возмущения.

Теперь и военный конфликт для внутренней консолидации развязать опасно: ну кто пойдет на смерть за Брежнева, за партию? А за Сталина шли. Даже ценность Родины-России деградировала: в армии много азиатов да и русский национальный дух, столь успешно возбужденный Сталиным после войны, значительно деградировал. И развиваемый антисемитизм, включая разрешение эмиграции евреев, который своей политической целью имеет оживление русского национализма, не работает удовлетворительно: слишком далеко зашла ас-

симияция евреев в России, трудно четко отделить. Вместо этого поток нежелательной информации резко увеличился, и эффективность этой информации значительно выше, чем эффективность любого радио.

Однако не волнуйся, читатель, за Советский Союз. Пока еще рано его оплакивать. Советские вожди — очень опытные. Они-то с самого начала понимали, что хорошо бы второго Сталина, но, если бы он пришел, именно они стали бы первыми его жертвами. Они и сейчас понимают, что, дав толчок развитию экономики, можно потерять политический контроль над системой. Проблем у них много, и вовсе они не дураки, но проблемы уж больно сложны. В конечном счете нужно сохранить за собою власть, что значит удержать систему от развала, от дестабилизации, чего боится и уважаемое абсолютное большинство населения Советского Союза. Ведь голод-то будет хуже, чем в Польше.

В этих условиях две первостепенные заботы есть у партии и правительства: во-первых, исключить возникновение какой бы то ни было контридеологической организации: диссиденты, борцы за гражданские права с их интеллигентской критикой не в счет — у них нет позитивной программы, их легко контролировать, они либералы. Разогнать их, конечно, нужно на устрашение другим. Опасно же возникновение организации с позитивной программой действий, вроде польских профсоюзов. Такие организации наверняка возникают, но уничтожаются на корню.

Вторая забота — кормить народ. Худо-бедно, но не допускать голода. Вплоть до продажи золота. И-таки заботятся. Я хорошо знаю, что строительство крупного продуктового холодильника в Ленинграде контролировал лично сам "генерал-губернатор" Романов — член ЦК КПСС и первый секретарь обкома партии. Доставка продуктов и продуктовые резервы — на ответственности самых высоких чиновников. Все это, конечно, не сталинская стратегия, но сохранение обеспечивает в сочетании с усовершенствованными методами промывания мозгов с помощью радио и телевидения и с идеологическим контролем через экономическую организацию.

В итоге, стабильность Советской власти обеспечивается сегодня главным образом искренней поддержкой абсолютного большинства населения СССР. Большинству этому наплевать на "Голос Америки", наплевать на своих правозащитников и критиков режима. Советские радио и телевидение предназначены не для того, чтобы убедить его, — оно убеждено, а для того, чтобы вложить в рот формальные аргументы. Это так же, как критик режима слушает то, что ему нравится, что подтверждает его точку зрения, например "Голос Америки", а позитивную официальную информацию просто не воспринимает — по себе знаю.

И тут-то и возникает вопрос о том, что же такое демократия, которой так гордится весь западный мир. Парадокс заключается в том, что, как утверждают советские вожди, их диктатура ("пролетариата") и есть демократия в терминах, имеющих хождение здесь, на Западе. Это действительно власть, ориентированная на удовлетворение прямых интересов абсолютного большинства популяции, обслуживающая этого большинства нужды и основные ожидания. И это относится к любой диктатуре известной в истории. Убрать смутьянов, а "народу" дать порядок и стабильность. А если тиран воинственный, то он дает народу еще и обострение чувства национального достоинства, наполняет жизнь среднего индивида высшей ценностью как-то: защита нации, превосходство нации и т.п.

Работает великолепно — посмотрите на гитлеровскую Германию, на римские тирании, кончая Муссолини. Более того, представим себе страну с идеально свободными выборами представителей власти, в которых большинство имеет истинную возможность своего волеизлияния. Можно ли предвидеть в принципе волю этого большинства? Конечно. Ведь это то самое большинство человеческой популяции, для которого, кроме стабильности и социального страхования в широком смысле, других проблем нет. Варьирует только предпочитаемая модель этого социального страхования.

Нет, что-то не в порядке с понятием "демократия". Не зря доктор Конрад Аденауэр в своих мемуарах описывает

демократию как социальную систему, "в которой и меньшинство имеет право на существование". Но это, пожалуй, уж ничего общего не имеет с самим термином "демократия" — народовластие.

Наиболее интересно в этом определении — содержание понятия "меньшинство". Аденауэр не дает ему определения, однако оно ясно из вышеприведенного анализа. Это не социальная, управляющая элита, а вышеописанная биологическая элита популяции. Это те самые, рожденные с потенцией управлять, творить, искать и вести за собой. Нужны ли они обществу в целом или абсолютному большинству? Да, безусловно, но в далекой перспективе и если считать полезными критериями интенсивность экономического развития, формирование образа исторического вклада нации в мировую культуру и т.п. Однако, как видит читатель, по поводу ценности этих критериев можно спорить. Зато что будет, если это активное меньшинство вообще не ограничивать в свободе (эдакая идеальная модель истинно свободного общества)? Вот тогда-то и придет истинная тирания или, что то же — истинная демократия.

Ленин и Сталин, Гитлер и Мао Дзе-дун, Хомейни и Каддафи и сотни других известных истории тиранов безусловно принадлежали и принадлежат к этой биологической элите. Все упомянутые — типичные харизматические лидеры (в терминах современной психологической классификации лидеров). Они все пришли к власти на фоне дестабилизированной социальной системы (избыточной свободы), и все были поддержаны абсолютным большинством общества. И все они подавили или уничтожили прочих представителей биологического актива — таковы уж правила игры.

Между прочим, в теоретическом рассмотрении трудно найти принципиальную разницу между исламскими фундаменталистами, которых незадолго до смерти репрессировал Анвар Садат, и современными советскими диссидентами, столь симпатичными нам, репресслируемыми коммунистами.

Коммунисты должны были бы спросить диссидентов: "А вы, обеспечив законность на нашем месте, смогли бы обес-

печить стабильность, удержать престиж нации, противостоять китайцам, которые такие же коммунисты, как мы, и вполне могут развязать конфликт на нашей границе для стабилизации своего режима? При всем этом могли бы вы заставить людей работать без дисциплины, которую мы поддерживаем, и прокормить эту огромную массу? Не думайте, что это так просто. Даже если бы вы разрешили сегодня частную инициативу в сельском хозяйстве. За шестьдесят лет нашей власти мы уничтожили творческий потенциал сельского населения страны: сначала физически уничтожили наиболее способных хозяев-кулаков и подкулачников, потом ввели паспортный режим — барьер, который могли перепрыгнуть только наиболее активные и разумные. Так что работать на земле-то и некому. Руководителей приходится направлять из города. Или вы думаете, что, получив власть, вы не захотите закрепить ее за собой? Кому, кроме вас, нужна свобода, о которой вы печетесь? Ну есть у нас трудности, связанные с устаревшим догматом, стратегическими ошибками, так мы от них сами страдаем".

У меня получилось, как у А.Галича: "Пожалейте, люди, палачей!"

Из всего вышесказанного, по-моему, следует, что понятие "демократия" едва ли можно использовать для описания не-какой социальной ценности.

Единственное, что имеет ценность для человеческого общества, — это меритократия, защищенная и обеспеченная номократией.

Меритократия, или власть наиболее способных осуществлять эту власть, — это, конечно же, идеализация, однако безусловно имеющая смысл социальной ценности. Совершенно очевидно, что чем способнее наши лидеры во всех областях и на всех уровнях человеческой деятельности, тем лучше для всех нас, в том числе для большинства и меньшинства.

Номократия — это власть закона, будь то юридический закон, как конституция США, или защищенное юридическим законом действие естественного закона, как свободная конкуренция. Ведь свободная экономическая конкуренция —

это великолепный механизм отбора наиболее способных руководителей. Потому что, если фирма прогорает, здание и машины не разрушают, рабочих и служащих не уничтожают, просто менее способные руководители уступают место более способным. Закон и только закон может защитить общество от уголовников и от макиавеллистского типа политиков, от ярости фанатической толпы и от предрассудков мозгопромытого самодовольного большинства. Но для этого закон должен быть мудрым и защищенным, и это тоже идеализация. Ведь закон не может быть мертвенно закостеневшим, и пересматривают его смертные люди.

Я думаю, что современная наука даже и не близка к постановке задачи оптимизации социального управления. Более того, я не уверен, что наука в принципе может решить эту задачу, потому что в основе ее лежит выбор системы ценностей, который находится за пределами любой науки.

Отыскание гармонии, меры и равновесия между консерватизмом и динамизмом — это, скорее, искусство и будет искусством еще долгое время.

Однако осмысленный анализ проблемы социального управления, по-моему, — дело очень важное и полезное. Думаю, это важнее, чем элегически рассуждать о судьбе демократии.

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ"

принимает заказы на выполнение набора, редактирования и корректуры рукописей по сниженным ценам. Заказчики получают право на бесплатную рекламу в трех номерах журнала.



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ПИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Мысли вслух

В Израиле люди любят говорить о политике, и русские эмигранты в этом смысле не исключение. В их компаниях вы можете услышать, о чем угодно, но только не похвалы самому Израилю. Никому и в голову не придет поднять тост за историческую родину, о которой еще недавно столько трубили.

В Соединенных Штатах эмигранты не устают говорить о своей любви к Америке: "Посмотрите, какие достижения, как устраиваются люди, какие делают деньги!" В одной довольно интеллигентной компании (к которой я ниже еще вернусь) я стал свидетелем, как расположившийся напротив меня врач, человек тонкий, амбициозный, знаток французского языка и литературы, выпив несколько рюмок, поднялся из-за стола и патетическим голосом предложил нам всем выпить за "новую Родину".

А когда почувствовал в моем взгляде иронию, страшно возмущился: "Да мы эту землю целовать должны! Как вам не стыдно! Мы же людьми здесь стали!"

В Америке я не был с семьдесят девятого года, и этот охвативший эмиграцию дух всеобщего бодрячества и патриотизма бросился в глаза прежде всего. Тогда, три года назад, — так по крайней мере казалось — я видел других людей и именно о них написал очерк "Третья эмиграция и джунгли свободы", напечатанный в "Новом Русском Слове", а затем и в журнале "Время и мы". В этом очерке я пытался воздать должное эмигранту из СССР. Голый, безъязыкий, но обладающий непревзойденной способностью работать локтями и на смерть стоять за себя, он, на мой взгляд, имел все шансы пробиться в джунглях свободы.

И вот, приехав в Нью-Йорк, я оказался в окружении своих вчерашних героев, сама жизнь как бы побуждала меня продолжить тему, начатую более трех лет назад: кем же они стали теперь, эти вчера еще безъязыкие эмигранты? Чем они живут? К чему стремятся? Каковы их идеалы?

Итак, я оказался в веселой и к тому же изрядно выпившей компании преуспевающих людей, прилично овладевших английским, с довольно высокими доходами, владеющими домами и квартирами, умеющими и любящими хорошо покушать и одеться. В компании этой у меня было много старых знакомых, и я чувствовал себя свободно и легко.

Было это, вероятно, уже год назад, но я хорошо запомнил этот вечер. Вначале хозяйка показывала гостям дом с бассейном, купленный совсем недавно (по этому случаю и устраивалось новоселье), водила их по этажам, гости восхищались, спрашивали о ценах и живо комментировали увиденное.

Затем сели за стол, уставленный марочными коньяками и всякими закусками из русских магазинов в Бруклине — чего здесь только не было, разве только птичьего молока. Как и полагается, пили за здоровье хозяев и гостей, дружно опустошая тарелки с салатами, икрой и лососиной. Расспрашивали хозяина, под какой процент ему удалось выбить ссуду на дом. Неожиданно перекинулись на налоги и молниеносно падающие цены на золото. И снова ели — теперь уже баранину и шашлык — и вот, когда стало уже совсем не впродых, поднялся мой врач-визави и предложил тост за новую Родину,

землю которой мы должны целовать. И все закричали: "Браво!" Кто-то предложил искупаться в бассейне — тотчас, не откладывая, — и хозяйка, выскочив на улицу, прямо в вечернем платье бухнулась в воду...

Я ничуть не шаржирую в этом своем описании — именно так все и протекало — напротив, я даже испытываю бедность своей "палитры", когда хочу рассказать о другом, еще более впечатляющем вечере в бруклинском ресторане "Голден Палас". Надеюсь, вы бывали в бруклинских ресторанах, так что представляете себе, что это такое. Ну, например, свадьбу в ресторане "Голден Палас", или "Садко", или "Европейский". Что там икра, лососина и шашлыки — разве это Америка?! Америка — это джаз, Америка — это стриптиз, и вот перед вами облаченная в тоненькое трико выплывает очаровательная исполнительница стриптизов — стареющая черновицкая или, скажем, прибалтийская звезда, по-видимому, также пробившаяся в джунглях свободы и эдак не по возрасту лихо оттягивающая трико, чтобы не затруднять посетителей опускать доллары. И все это под звуки джаза — мальчики все за те же доллары готовы послушно исполнять все, что ни заблагорассудится счастливым новобрачным. И так по всему русскому Бруклину — поют, гужуют, сходят с ума — пир победителей: да здравствует свобода на новой родине!

Я никогда не был ханжой и со времен института любил застолье — с водкой, с музыкой — кто же этого не любил в студенческие годы. И когда приехал в Нью-Йорк, тотчас принял предложение друзей съездить в русский ресторан на Брайтон — что ни говорите, а свое российское — и язык, и люди, и нравы, и главное — пища — особая русская кухня. Поели действительно хорошо — и в первый раз и во второй, а в третий... а в третий я дал себе слово, что больше сюда не приеду. Сидел посреди пирующего, ходящего ходуном зала и поймал себя вдруг на том, на чем никогда не ловил в России — в этом исконно русском веселье, которое я когда-то так любил, меня вдруг охватила тоска, причину которой я не мог объяснить. Нет, это не было вдруг вспыхнувшей ностальгией по прошлому, это была тоска уже здешняя, новорожденная, поэтому заглушить ее было решительно невозможно. А знако-

мые мои продолжали сюда ездить, им нравился этот ночной, пирующий Брайтон. По их словам, они тяжело работали и считали себя вправе отдохнуть. Каждый из них воспринимал эту жизнь по-своему, как по-своему каждый воспринимает Америку.

Бессмысленен вопрос — кому здесь лучше — врачам, инженерам или художникам. Лучше здесь тем, кто способен себя ломать, менять, подобно героям Бруно Ясенского, кожу. За все, что предоставляет Америка, приходится платить — не деньгами (добро б деньгами!), а отказом от чего-то бесконечно ценного, что мы имели там, — в нищете, убогости и рабстве и чего незаметно для самих себя лишились здесь — в сытости, обилии и свободе. Да, в этой стране мы многое нашли, но что-то и потеряли. О найденном говорят все, об утраченном чаще молчат — Америка лучшая в мире страна, и тот, кто не способен здесь вознестись, мало чего стоит сам. Так часто приходится слышать эти прописи, что, кажется, они и есть истина в высшей инстанции и вроде бы уже неудобно говорить об утраченном. А что, собственно, утрачено и что это за плата, которую требует Америка? В размышлениях этих, которые не оставляют меня в последнее время, приходят мне на ум всяческие параллели и реминисценции, словно судьба специально подсовывает их, чтобы уличить меня в сделке с дьяволом.

...Вот сидим мы в квартире моего старого друга в Гнездиновском переулке — не сейчас это было, много лет назад, но в памяти отпечталось все, как вчера: на столе "Столичная", кабачковая икра, селедка, обложенная дольками лука, капуста-провансаль — обычное московское застолье — и компания обычная, полубогемная, полуеврейская (у доброй половины из нас девочки русские) адвокаты, журналисты, кандидаты наук — и все хохмачи, и все великолепно выглядят, и все хорошо устроены, пьем водку, ну и, конечно, говорим, боже, о чем только не говорим под эту водку и под эту икру — за этим веселым, нищим столом. И так до полуночи, а в полночь все идет прахом. Стук в дверь — и вваливается, ну как вы думаете, кто? Михаил Аркадьевич Светлов, в дре-

зину пьяный, расхлестанный, где-то уже вывалившийся. И такого как есть — пьяного, расхлестанного, его, как короля, усаживают за стол, и он бурчит что-то ужасно потешное себе под нос, острит, посмеивается, и надо было видеть в этот момент всех нас и особенно наших русских девочек, не сводящих со Светлова своих влюбленных глаз. Позови он любую, и пошла бы, не глядя, что пьян, бездомен и беспутен. И, кажется, в тот именно вечер пришла мне в голову мысль: "Нет не режим, а поэты царствуют в России!"

И представляю я Михаила Светлова в Бруклине, случайно забредшего в "Голден Палас", как некогда заворачивал он в кафе "Националь". Там его сажали за почетный стол, а здесь, сколько мне пришлось бы объяснять, кто этот странный, пьяненький старикашка, прежде чем поднесли бы ему стопку, и почему он не хочет идти на велфер, хотя у него нет за душой ни гроша.

Я не стану продолжать эту параллель. Порадуемся за Михаила Светлова, что он вовремя умер и не отведал эмигрантского счастья на свободной американской земле.

Итак, мы достигли всего: мы обрели прекрасные квартиры, наши столы ломаются от изобилия, мы разъезжаем на роскошных машинах, но мы потеряли нечто такое, чего не купишь ни за какие деньги. Нам не надо выстаивать за одним Цветаевой — он к нашим услугам за несколько долларов, — но как жалко их истратить, когда в мире столько соблазнов. Вот почему я иронически улыбаюсь, когда мне предлагают целовать американскую землю и пить за новую родину. У этой родины есть все, но только не говорите мне, что в ней царствуют поэты, а без поэзии не лежит у меня душа целовать никакую землю. Эту поэзию мы привезли с собой, как привезли и русскую культуру, обретшую в свободном мире мощный инстинкт самосохранения. Но посмотрите, какой парадоксальный характер приобрело это явление в Америке. Растут, как грибы после дождя, новые русские издания, и в то же время охладевает интерес к ним со стороны эмиграции, уходящей все глубже в американскую жизнь. Похоже, что появление новых журналов и книг вызвано не столько по-

требностями рынка, сколько по-человечески понятным стремлением русских журналистов и писателей к самовыражению. Они открывают новые издания, потому что у них нет иного выхода. Они не хотят расставаться с языком — своим единственным богатством. Картина столь же драматическая, сколь и занятная: открываются новые газеты, разгорается битва за читателя, порой переступающая всякие этические рамки. Наши авторы ведут себя, словно неудачливые боксеры на ринге, забывшие правила борьбы в своем стремлении разжечь скучающего зрителя. Но почему же скучающего? Когда, в какой момент наш российский интеллигент остыл к извечно любимому им русскому слову? У меня нет готового ответа на этот вопрос, а есть лишь печальные наблюдения, которыми я делюсь с читателем.

Это верно, что судьба милостиво поместила нас в бесподобный мир, где так высоко ценится труд и где высшая и благороднейшая из задач — зарабатывать деньги. На них пересчитывается все: автомобили, поэзия, музыка, ласка. Америка дивно благоустроила жизнь, и деньги стали главным кумиром, началом и концом бытия. У всего есть цена: врач стоит столько-то, инженер столько-то и столько-то проститутка с 42-ой улицы. Ошибки исключены, если рынок сказал свое слово.

Я снова возвращаюсь на три года назад, когда писал о цели эмиграции — вырваться в джунглях свободы. Но вырваться во имя чего? Ради какой цели?

Речь идет не просто об абстрактном нравственном императиве. Есть у этой проблемы и чисто человеческая сторона — наше мироощущение, наше самочувствие. Можно стать преуспевающим бизнесменом, иметь дом в Лонг-Айленде и на вопрос: "как дела?" — с неизменно сияющей американской улыбкой отвечать: "все о'кей" — и при всем этом внутренне ощущать себя одиноким и в сущности несчастным человеком. Наступает эта столь знакомая западному человеку грань преисполненности, за которой на самом деле ничего нет.

На собственном опыте мы знаем, что в Америке можно многого достигнуть. Можно вырваться в джунглях свободы,

вырваться и... пропасть, исчезнуть как личность, так и не найдя ответа на, может быть, главный вопрос: зачем же мы здесь и что, кроме денег и богатств, дала нам Америка?

Малоприятная мысль, но нам от нее никуда не уйти. Я имею в виду сферу духа, а значит, и наш внутренний мир, который так часто находится в других измерениях. Но это главное, на чем стоит человек, и без чего, как мне кажется, само его существование лишено смысла. Мы сами строим свою духовную жизнь, сами ищем ее истоки и сами пожинаем ее плоды.

К СВЕДЕНИЮ УНИВЕРСИТЕТОВ, БИБЛИОТЕК И БИБЛИОФИЛОВ

В распоряжении редакции имеется несколько уникальных комплектов журнала "Время и мы" с 1-го по 64-й номер (1975-1982). Многие из ранних выпусков журнала отсутствуют в библиотеках и магазинах и, по оценкам специалистов, стали библиографической редкостью. В этот полный комплект входят лучшие произведения русской зарубежной литературы и самиздата, а также произведения выдающихся западных и израильских писателей.

В 64-х номерах журнала наиболее полно по сравнению с другими изданиями представлена эмигрантская и русская неподцензурная публицистика.

Цена комплекта 395 долларов, включая пересылку.

Заказы и чеки присылать по адресу редакции журнала "Время и мы".

МАРРАН

ДЕФОРМАЦИЯ ДУШИ

Еврейская тема в советской литературе

1

По данным последней переписи населения Советского Союза, из 1.800 тысяч евреев лишь 255 тысяч, или 14,2%, назвали еврейский язык родным. Не знаю, в какой мере эта цифра отражает подлинное владение опрашиваемых идишем. Не исключение, что здесь сказалось стремление утвердить по существу уже отмершую связь с национальной культурой, ущемляемое национальное достоинство. Тем не менее, ни у одной из ста народностей страны нет столь высокого показателя ассимиляции.

В большинстве перечисляемых в статистическом справочнике наций 95%, 85, на худой конец 80% опрошенных заявили о своем владении родным языком. У корейцев, так же как у евреев, не имеющих в рамках СССР своей территории (не считать же еврейской территорией Биробиджан), и то 55%.

Даже 18% из 500 членов реликтового племени алеутов назвали родным языком алеутский. А здесь 14 процентов!

За этой цифрой стоит массовое вторжение еврейской молодежи в новую послереволюционную жизнь с ее неизбежной русификацией и физическое уничтожение во время войны украинско-белорусского местечка, главного резервуара идишитской культуры, и последовавший после войны разгром остатков этой культуры.

Незнание национального языка, однако, лишь один из критериев ассимиляции. Другой — утрата духовных связей с прошлым своего народа. Шестнадцатилетний еврейский мальчик, прочитав собрание сочинений Шолом-Алейхема, несмело признался, что ему как-то стыдно быть евреем. Он отстаивал свое еврейство в школьных драках. Он гордился победами Израиля. Но почему же так унижительно смешны эти коротконогие экспансивные люди, от которых он оказывается произошел? Почему они позволяли всем кому не лень издеваться над собой? Почему так противно звучат по-русски их причитания и шутки?

Я старался воспринять мир местечка глазами современного подростка, практически ничего не знающего о прошлом своего народа, и, чем глубже погружался в этот мир, тем острее вставал вопрос, каким образом из тягостной местечковой одури, из многовекового смирения, возведенного в религиозный принцип, из, казалось бы, полной отвычки от физического труда, от вольного воздуха, от сопротивления, на протяжении жизни практически одного поколения возникли современный Израиль и исход советского еврейства?

Я, словно четки, перебираю аргументы — звенья цепи исторических явлений — погромы, геноцид, взрывы мессианских чаяний, формирование политического сионизма, кибуцничество. Обо всем этом написаны целые библиотеки, не дающие, тем не менее, на мой взгляд, полного и убедительного ответа на загадочное и в сущности мгновенное превращение национального образа, еще вчера проявлявшего себя в облике приниженных местечковых лавочников, слабогрудых ремесленников, а всего лишь десятилетие спустя — в виде фа-

натических комиссаров российской революции или солдат израильской армии, или, наконец, скептических советских интеллектуалов, бросающих вызов государственному тоталитаризму.

Можно было бы ждать ответа на этот вопрос от литературы. Но подобного рода художественно достоверный ответ в состоянии дать только литература великая, несущая в себе ту страсть и честность, которыми обладала русская литература 19-ого века. Не нынешней подцензурной российской словесности ставить перед собой столь серьезные задачи.*

Так можно ли в связи с этим брать отдельные ее произведения в качестве материала для анализа духовной жизни хоть какого-либо слоя населения. Полагаю, что все-таки можно, но только проводя анализ на оси писатель—читатель, соотнося факты искусства с фактами жизни и усиливая социологическое начало, свойственное в какой-то мере всякому добросовестному критическому разбору.

2

Некогда Эдуард Багрицкий написал поразительное по поведальной силе и художественной точности стихотворение "Происхождение".

С отвращением описывает поэт свое местечковое детство: "Еврейские павлины на обивке, еврейские скисающие сливки, костыль отца и матери чепец — все бормотало мне: — Подлец! Подлец!" Но изображению традиционного бунта романтической юности сопутствует подспудное осознание своих национальных духовных корней. "Меня учили: крыша — это крыша, груб табурет, убит подошвой пол. Ты должен видеть,

*В силу вынужденной ограниченности моего кругозора не могу анализировать зарубежные, скажем израильские, материалы. Что касается идишитской советской культуры, то по причинам, о которых говорилось в самом начале статьи, она находится за бортом российской общественной жизни и носит своего рода декоративный характер. Издаваемый в Москве 20 лет журнал "Советиш Геймланд" практически не имеет читателя.

понимать и слышать, на мир облокотиться, как на стол. А древоточца часовая точность уже долбит подпорок бытие... Ну как, скажи, поверит в эту прочность еврейское неверие мое?" Его неверие — еврейское.

Стремясь показать противоестественность мещанского существования, Багрицкий изображает опрокинутость мира, заставляя вспоминать сюрреалистические детали живописи своего современника, такого же, как и он, сына еврейского местечка * Марка Шагала.

И, конечно же, в финале еврейское мещанство вышвыривает за дверь лирического героя стихотворения: "Отверженный! Возьми свой скарб убогий. Проклятье и презренье! Уходи! Я покидаю старую кровать: — Уйти? Уйду! Тем лучше! Наплевать!"

В предвоенной русскоязычной литературе тема разрыва с патриархальным прошлым была доминирующей как в творчестве писателей русского происхождения, так и в особенности евреев. Иосиф Уткин в поэме "Повесть о рыжем Мотэ-ле", довольно точно воспроизводя в русской речи идишистские интонации, повествует о еврейском портном, который стал комиссаром. Михаил Светлов, чей своеобразный печальный юмор и мягкий лиризм имеют в своей основе ту же идишистскую традицию, в поэме "Хлеб" рассказывает о лавочнике Самуиле Либерзоне, который братается с погромщиком Игнатом Можаевым. У обоих погибли в Красной армии сыновья. И прозревший, перевоспитавшийся, постаревший Игнат говорит: "Извиняюсь, Либерзон, за ошибку свою извиняюсь! За изнасилование дочерей, за разбитые ящики вашего комода я очень извиняюсь, товарищ еврей, бывшая "жидовская морда". Самуил принимает извинения врага, так как, говоря словами Светлова, "извиниться перед евреем, значит стать его лучшим другом".

Темы забвения исторической розни, объединения в общей

*Под словом "местечко" я подразумеваю понятие отнюдь не административно-географическое. Багрицкий родился в Одессе, Шагал — в Витебске.

советской семье и происходящей в процессе такого рода объединения ассимиляции на базе русской культуры, проходят через творчество многих русских писателей еврейского происхождения. Дается такое отрицание им просто, весело, как-то беспамятно, разве что мелькнет иногда элегическая нотка, обладающая подчас страшноватым подтекстом: "Оттого ли, что жизнь моя отдана, — пишет молодой Светлов, — дням беспамятства и борьбы, мне не имевшему Родины, родину легче забыть"

Послевоенные годы с их разгулом великодержавного шовинизма и антисемитизма сняли еврейскую тему с повестки дня тогдашней литературы. Еврейские имена, если и появлялись в печати, то в основном в газетных статьях о критиках-космополитах, врачах-убийцах, на худой конец, в фельетонах о расхитителях и спекулянтах. Иногда издавались документальные повести о мученичестве евреев во время войны как отголоски, периферия огромной и многогранной военной темы, неутомимо разрабатываемой в советской литературе, — переведенные с литовского записки Марии Рольникайте об уничтожении виленского гетто, "Бабий яр" Анатолия Кузнецова, тогда еще преуспевавшего советского писателя.

Но то были отдельные эпизоды. Даже во время послесталинской оттепели, в либеральный период начала 60-х годов, когда печатался Солженицын и предметом литературного отображения стал даже советский концлагерь, существование еврейской проблемы в рамках советского государства было уже литературным табу. Молчаливо предполагалось, что никакого автономного национального бытия, собственно говоря, нет. Местечко уничтожено войной. Биробиджан имеет свою крохотную идишистскую культуру, как и положено всем национальным областям, а что касается двух миллионов так называемых советских граждан еврейского происхождения, то они ассимилировались, потеряли свои национальные отличия. Правда, некоторые из них под влиянием сионистской пропаганды уезжают в Израиль, в США, но это уже дело органов государственной безопасности, а не "инженеров человеческих душ".

Первым признаком прорыва этой блокады стало издание в конце 70-х годов романа Анатолия Рыбакова "Тяжелый песок" — саги об одной еврейской семье, история которой прослеживается на фоне жизни и гибели украинского местечка 20—40-х годов. В свое время я рецензировал в журнале "Время и мы" этот роман, который представляется мне своеобразной политической спекуляцией на трагедии советских евреев. Спекулятивными, на мой взгляд, являются идеализация предвоенной жизни местечка, отрицание трагического одиночества, полной изоляции, в которой оказалось советское еврейство в равнодушной или враждебной украинской среде перед лицом своего полного уничтожения в лагерях и гетто, и, наконец, умолчание о послевоенных бедствиях евреев в условиях сталинского антисемитизма.

Рыбаков проводит семейный корабль своих героев, миную все подводные рифы еврейского существования, которые не могла миновать в Советском Союзе ни одна семья. Учитывая все это, я считал и считаю теперь, что такого рода полуправда хуже, чем явная ложь или просто молчание.

Но вот что интересно. Разговаривая об этом романе со многими достаточно свободомыслящими советскими евреями, я убедился, что им как-то не приходило в голову такого рода соображения. Книга Рыбакова нравилась. Чем? Почему? Ну прежде всего, отвечали мои собеседники, тем, что евреи изображены с такой симпатией, любовью, такими в массе своей чистыми и славными людьми. Вот благородный мудрец сапожник Яков, еврейская мать Рахиль, их сын, прошедший войну в разведке, — разве это не ответ российским антисемитам? Да, конечно, многое приукрашено, кое-что идеализировано. Но ведь о главном-то сказано — о еврейских страданиях во время войны.

Такая позиция заставляет задуматься, тем более что если Светлов с его поэмой "Хлеб", воспевающей братство еврея и погромщика, и стоящий за ней читатель 30-х годов могли еще тешить себя иллюзией национального мира в рамках создаваемого социализма, то Рыбаков, ловко сконструировавший сюжет своего романа, и его нынешний читатель уже несут в

себе груз памяти о событиях 40—50-х годов, понимание того, как остра сейчас в условиях "построенного социализма" национальная рознь.

Так что же здесь? Искажение нравственного чувства — лишь бы хорошо сказали о своих, а что, как — не важно? Утрата национального достоинства? А может быть, сказались последствия отъезда за рубеж наиболее национально сформировавшихся евреев — остались в основном те, у кого национальные чувство и достоинство лишь созревают? Или речь идет о некоем особенном свойстве еврейской души, еврейского характера с его мгновенным переходом от крайнего смирения к мужественному отпору?

3

1980 год принес опубликованную в восьмом номере журнала "Дружба народов" повесть Дины Калиновской "О, суббота!" и напечатанную в десятом номере журнала "Театр" пьесу Александра Борщаговского "Дамский портной". Такая сравнительно частая публикация произведений, посвященных евреям и написанных писателями еврейского происхождения, дает новый материал для анализа и размышлений.

Повесть Калиновской обладает в соответствии с советскими идеологическими канонами некоторой остротой и новизной уже по характеру привлекаемого материала. До сей поры еврейская тема выражалась главным образом в произведениях о войне, в лучшем случае, о довоенной жизни, как в книге Рыбакова. Здесь же — шестидесятые годы, еврейская семья, перебравшаяся после революции из родного местечка в Одессу и прожившая там почти полвека.

Сюжетным стержнем повествования служит приезд в гости одного из членов семьи из Америки, куда он убежал в далекой юности. Американец оказывается не только богатым, но и милым, родственным, добрым человеком, спасавшим во время войны еврейских детей и усыновившим двоих из них. Написано все это пером талантливым и профессиональным, с глубоким знанием быта и психологии героев, ну и, разумеется, с

умелым политическим маневрированием, обходом всего запретного, того, о чем не принято говорить в подцензурной литературе. Характерно, что время действия повести, опубликованной в 1980 г., — начало шестидесятых годов, когда массовый исход советского еврейства еще не начался, а время было относительно либеральное и, стало быть, весьма удобное для отображения.

Однажды только чувство политического такта изменяет писательнице, и откровенно угодливой ноткой звучит такое: американский родственник приглашает своего двоюродного брата попутешествовать по Европе, одессит промолчал, но подумал, что "он понятия не имеет, зачем без специальной командировки советским гражданам шататься по загранице". В самом деле, зачем?

Следы компромисса, идеологической заданности ощутимы и во многом другом: в украинизированной Одессе нет и малейшего следа антисемитизма, главный герой, старый одесский еврей, проникается горячей симпатией к казахскому юноше, с которым он случайно познакомился, — деталь, призванная знаменовать интернациональный характер отношений. Но Бог с ним... Нам ведь важно иное: в какой мере повесть отражает черты современного еврейского национального характера?

Главный ее герой — Саул Исаакович, старый еврей, чистый, мудрый, добрейшей души человек, воевавший некогда вместе с Котовским. Это мужественное революционное прошлое не оставило, однако, ни малейшего следа в его духовном облике. Правда, объяснением тому может служить чудовищное надругательство, которому он подвергся в гражданскую войну. Его кастрировали бандиты в украинском селе, куда он пришел агитировать за советскую власть.

В пьесе Борщаговского мы видим такого же, как Саул Исаакович доброго местечкового мудреца, старого портного Исаака Моисеевича, вместе с семьей собирающегося летней ночью 1941 года в дорогу к Бабьему Яру. Никто из действующих лиц не знает о предстоящем наутро уничтожении евре-

ев, но смутные догадки наполняют действие трагическим напряжением.

Расклад сил здесь такой. Имеется дворник Горбунов, открытый антисемит, бывший вохровец, его жена Настя, молодая крестьянка, сострадающая евреям и даже пытающаяся оставить у себя их ребенка. Горбунов в свои вохровские времена спас ее от голодной смерти на севере, куда она была сослана вместе со своей семьей. Пожилая фельдшерица Евдокия, чей муж — бывший "красный директор" — находится в лагере. Таким образом, представлены основные политические реалии времени, и трагедия войны, и уничтожение еврейства встраивается в ряд трагедий коллективизации, сталинского террора и других событий советской истории.

Исаак Моисеевич в этой ситуации мирит ссорящихся, вспоминает о прошлом, успокаивает, утешает, резонерствует. Он несомненно положительный герой, выписанный с предельной авторской симпатией. Но вот в середине действия проскальзывает весьма значительный диалог. После оскорбительной антисемитской выходки Горбунова Исаак готов пригласить его в свой дом:

— Пусть и он придет: мы расстаемся, надо прощать друг другу... Тем более человек мучается.

— Тогда я уйду, — говорит его невестка Ирина.

— Ты не хочешь помочь человеку сделаться лучше? Ты же боишься его.

— Вы его боитесь, отец! Это ваше проклятие: и не страх, а хуже. Привычка, желание задобрить любого... Чтобы было тихо, чтобы беда прошла мимо.

Поразительно емка эта последняя реплика. Мы видим, как через десятилетия протягивают друг другу руки герои разных литературных произведений: Самуил Либерзон из светловской поэмы "Хлеб", прощающий погромщика; Самуил Исаакович из повести Калиновской "О, суббота!", у которого не осталось ненависти к искалечившим его людям; Исаак Моисеевич из пьесы Борщаговского "Дамский портной", приглашающий к себе в дом антисемита. Все эти образы, так же как и образ Якова из романа Рыбакова "Тяжелый

песок", — суть попытки дать отображение традиционного национального типа советского еврея, столь милого русскоязычной советской литературе и призванного вызывать симпатию и понимание у советского массового читателя.

4

Некогда в московском Доме литераторов работал старый парикмахер-еврей, как будто бы ныне умерший. Стриг он не так уж хорошо, но его национальный юмор и акцент стали как бы неизменным атрибутом московской литературной жизни. К нему охотно садились в кресло идеологические погромщики 40—50-х годов. Утомленные борьбой с эстетами и космополитами, с безродным племенем еврейских интеллектуалов, всевозможных Юзовских, Гуревичей, Борщаговских,* они, закрыв глаза, снисходительно вслушивались в нескончаемые истории этого писательского Фигаро, уснащавшего свою речь кисло-сладкими местечковыми шутками, и не находили в себе ненависти, которую у них вызывали его интеллигентные соплеменники.

Парикмахера по-своему любили, оберегали, привозили ему подарки из заграничных вояжей и националистически настроенные литераторы позднейших времен. Эта приязнь служила утешением в свойственном всякому антисемиту тайном ощущении своего человеконенавистничества. Ведь ненавидеть целую нацию, целый народ трудно. Хочется иметь хотя бы одного своего еврея — исключение. Еще лучше, когда такой еврей примитивен. Неприятительное шутовство парикмахера словно бы извинялось за интеллектуальное высокомерие других — сильных, талантливых представителей нации.

Мы не против народа. Но только пусть они остаются на своем месте, — звучат традиционные аргументы, — ремесленниками, портными, парикмахерами. Здесь они могут быть полезны и даже милы и симпатичны. Лишь бы не лезли в нашу

*Автор пьесы "Дамский портной" Александр Борщаговский в конце 40-х годов подвергался проработке как критик-космополит.

культуру, не вносили в нее свое бесплодное умствование, нигилистическое разрушительное начало, не служили, подобно Мандельштаму, "жидовским наростом на тютчевском теле русской поэзии".

Пусть переиздается Шолом-Алейхем, пусть существует "Советише Геймланд". Это их автономный угол в многонациональной советской культуре, коль скоро такая культура существует. Вот и сидите себе в своем углу, а на наше русское поле не ходите.

Такова логика современного русского шовинизма, ощущающего угрозу цельности и самобытности своего национального духа со стороны еврейства как носителя космополитического интеллектуализма. Естественным следствием подобного рода рассуждений служит признание, что патриархальное, народное еврейство у них неприятия не вызывает. Более того, с пониманием воспринимается исход в Израиль. Наконец, следует последнее откровение, ставящее точку в разговоре: "Будь я евреем, обязательно уехал бы в Израиль".

Такой ход мысли органичен для целостного националистического мирозерцания и находит все большее общественное распространение в современной России. Своеобразным, хотя возможно и бессознательным ответом на это настроение, безотчетным выполнением социального "заказа" служат как сами литературные произведения, изображающие безобидных патриархальных евреев, полных доброты и любви к людям, даже и унижающим их, так и реакция на подобные произведения еврейской читающей публики. Русская, как мне думается, их просто не замечает.

Не является ли такой кочующий из одного произведения в другое образ еврейского народного святого также результатом глубоко запрятанного страха, той самой привычки задобрить любого и, конечно же, хозяина дома, где расположился, привычки, о которой говорит героиня пьесы Борщаговского: "Чтобы было тихо. Чтобы беда прошла мимо".

Разнообразие проявлений страха в условиях тоталитаризма и воплощение этого чувства в советской культуре могло

бы быть предметом особого критического исследования. Вынося за скобки страхи, свойственные человеку, живущему в любом обществе, — смерти, болезни, нищеты, одиночества, — здесь можно было бы остановиться на тех особых деформациях души, которые происходят вследствие неотступного давления огромной государственной машины.

Страх чиновника, боящегося за свою карьеру, ибо потерять должность — значит потерять личность, стать человеком без лица. Страх интеллигента, боящегося обнажить свое истинное лицо, открыть свое двоемыслие... Патриотизм из страха. Национализм из страха. Я знал людей, совершивших на фронте подвиги из страха, так как идти назад было страшнее, чем вперед, и они шли на амбразуру к самоубийству. Я знал евреев, которые, пережив предпогромное ожидание послевоенных лет, намучившись без работы, до конца своих дней радовались тому, что их допустили хоть к какому-то делу, сохранили болезненную отзывчивость на всякое доброе слово, похвалу.

Но и уж конечно, как не отразиться подобной деформации души в русскоязычной еврейской литературе, как не защититься ей, не заслониться от заранее предвиденных антисемитских упреков, образом местечкового святого, как бы извиняясь за саму тему.

"Нам не в чем извиняться, — писал 70 лет тому назад в российской прессе Владимир Жаботинский, участвуя в полемике по делу Бейлиса. — Мы народ, как все народы; не имеем никакого притязания быть лучше. В качестве одного из первых условий равноправия, требуем признать за нами право иметь своих мерзавцев; точно так же, как их имеют и другие народы. Да, есть у нас и провокаторы, и торговцы живым товаром, и уклоняющиеся от воинской повинности, есть, и даже странно, что их так мало при нынешних условиях. У других народов тоже много этого добра, а зато есть еще и казнокрады, и погромщики, и истязатели, и, однако, ничего, соседи живут и не стесняются. Нравимся мы или не нравимся, это нам, в конце концов, совершенно безразлично. Ритуального убийства у нас нет и никогда не было, но если

они хотят непременно верить, что "есть такая секта", — пожалуйста, пусть верят сколько влезет. Какое нам дело, с какой стати нам стесняться? Краснеют разве наши соседи за то, что христиане в Кишиневе вбивают гвозди в глаза еврейским младенцам? Нисколько: ходят подняв голову, смотрят всем прямо в лицо и совершенно правы, ибо так и надо, ибо особа народа царственна, не подлежит ответственности и не обязана оправдываться. Даже тогда, когда есть в чем оправдываться".

Эти строки продиктованы здоровым и естественным мироощущением, в конце концов уводившим еврейство из диаспоры и в какой-то мере проявляющимся сейчас в исходе, в национальном диссидентстве.

Обратимся теперь еще к одному, последнему в этой статье произведению — роману Марка Наумова "Исход".

5

Не знаю, кто такой Марк Наумов, ибо рукопись ходит по рукам. Относить ее к литературе подцензурной, а не самиздатской дает основание тот факт, что автор стучится в двери литературных журналов, настойчиво предлагая свое произведение для публикации. Отказ же получает, как мне думается, лишь в силу ограниченности и консерватизма советской идеологической системы ("Тяжелый песок" Рыбакова тоже долго не печатали.)

Итак, повторяю: не знаю, кто такой Марк Наумов, но человек он, как мне представляется, высоко одаренный, обладающий развитым писательским воображением, литературно образованный, усвоивший многие уроки русской литературы и к тому же творчески смелый. (Подчеркиваю, речь идет о смелости творческой, а отнюдь не гражданской.) Потому что только творчески смелый художник может положить в сюжетную основу своего повествования библейскую историю исхода евреев из Египта.

Роман начинается с пробуждения в пустыне некоего Варуха, опустившегося, бесноватого, раздираемого душевными

противоречиями, некогда изгнанного за вольнодумство из Египта писца, поверившего в дело Моисея и ставшего его тенью и совестью. Он просыпается в песчаной норе, неподалеку от горы Нево, куда удалился, чтобы дожидаться там смертного часа его кумир и пророк Моисей. Просыпается на куче вонючих бараньих шкур. На их коже он, Варух, заостренным ножом заносит историю странствий евреев, которой суждено когда-нибудь стать библейской книгой Исхода.

А далее действие опрокидывается в прошлое и идет по знакомой канве. Убийство Моисеем надсмотрщика. Побег в пустыню. Жизнь с Сепфорой. Приход Аарона. Возникновение идеи исхода. Жестокость Египта, многозначительно именуемого Державой. Политические расчеты фараона и его приближенных, сразу же, в отличие от библейского текста, выпускающих евреев, чтобы внести раздоры в кочующие по степи племена, способные угрожать Державе. Разумеется, библейский сюжет модернизируется, приспосабливается к сознанию читателя, течению современного романа. Так, вместо всех казней египетских введен очень реальный и точный эпизод погони за ушедшими евреями "золотой" египетской молодежи и сцены ее гибели.

Чем глубже погружаешься в повествование, тем неотступнее мысль: как автор, человек, видимо, прошедший разве что через круги нашей советской образованщины и, стало быть, лишенный, как и все мы, мировой культуры, стоящий в стороне от течения мировой религиозной мысли, решил после Томаса Манна с его "Иосифом", прикоснуться к библейской теме.

Роман написан с какой-то мрачной, жестокой страстностью и поразительной достоверностью, выписанностью деталей. У Моисея в старости сутулая широкая спина, обтянутая закопченной, пропотевшей льняной тканью. Иисус Навин похож на тучного, сгорбленного своей мощью быка.

Автор даже как будто щеголяет остротой своего писательского зрения, живописуя героев с натуралистической точностью и близким нам, современным читателям, видением их психологии, образов, поступков.

У Манна в переводе Апта Иосиф называет Иакова "папочка и господин мой" — трогательное и вместе с тем художественно достоверное смешение древневосточного и современного. Все равно это роман-миф.

В "Исходе" соратники Моисея велеречиво говорят ему: "Мы только твой след в пыли, Моше". От этого ничего не меняется, ощущение приземленности, сознание того, что на наших глазах происходит совлечение мифологического, мистического покрова с библейского сюжета остается на протяжении всего действие.

Вот сцена, когда Финеес, сын Елеазара, убивает Зимри, застав его вместе с иноплеменницей-моавитяжкой. Сцена абсолютно реальна. Гонец Финеес, измученный многочисленными политическими поручениями Моше, возвращается к себе домой после очередного странствия и видит, как сытно и спокойно живут его единоплеменники. Даже сосед его, какой-то ничтожный юноша, ведет к себе в шатер моавитянскую девушку. Ненависть, зависть, а совсем не высокое религиозное чувство толкает Финееса на убийство.

Такой подход к теме — следствие определенного авторского замысла, вполне сформированной концепции как образа Моисея, так и идеи исхода.

В конце романа есть многозначительный эпизод, в котором точно формулируется эта концепция. Действие происходит в период, когда люди племени Хабиру, некогда вышедшие из земли Египетской — страны Мицраим жалкими странниками, превратились в могучий и страшный народ и подошли наконец к цели своих скитаний, земле обетованной. В этот момент их вождь Моисей решил покинуть свое племя и уйти на гору Нево.

"Кем стану я в глазах следующих за нами поколений, кого привел я на границу земли обетованной, — спрашивает он у своей совести — Варуха. — Вот тысячи костров, — он приподнялся и указал на слабое зарево на равнине. — И у каждого мужчина точит оружие, а женщина готовит мешки для добычи, лишь о завтрашнем бое их забота, и только о грабеже их мечты. А я во главе. Вот что знают люди сейчас

и о чем вспомнят после моей смерти.

...Моше сделал шаг вперед и схватил Варуха за нагрудные лямки передника, поразив неведомо откуда воскресшей мощью. Он прижал его к себе, обдав горьким запахом неухоженной старости, и сказал тихо:

— Ты помнишь тогда, вначале, ты сказал: "Исход".

— Да, — без голоса ответил Варух.

— Нет, — сказал Моше, — мы ошиблись: "нашествие".

Образ Моисея глубоко трагичен. Пророк терпит крушение в своих надеждах на очеловечивание нации в процессе исхода. Он — жертва собственных компромиссов, политических интриг, борьбы за власть. При всей мистической одержимости, которая несомненно ощущается в его образе, он — вождь нашествия.

Писатель предаёт забвению, практически выпускает из поля зрения романа законодательную, нравственно-реформаторскую деятельность пророка, без которой исход и в самом деле превращается в нашествие. В романе порывы Моисея к чистоте, к Богу смутны, имя Господа в сущности служит объектом политических спекуляций, средством захвата власти

Между тем "люди племени Хабиру", которые в ходе завоевания новых земель конечно же убивали, грабили, преступали заветы своего Бога, тем, однако, и отличались от орд свирепых завоевателей, волнами накатывавшими на любые мирные племена (извечный конфликт между пастухами и земледельцами, столь четко прослеженный современными историками), что несли с собой идею единобожия, новый нравственный кодекс, сформулированный и утверждённый Моисеем. Именно поэтому они не растворились в истории подобно другим таким же ордам, остались в духовной памяти человечества.

Попытка осовременить библейскую историю, исключить ее религиозно-нравственное содержание, подменить его довольно тривиальными размышлениями о природе власти, методах объединения нации приводит к подмене темы исхода.

Что ж, в конце концов за писателем остается право прис-

посабливать любой классический сюжет к духовным потребностям дня, запросам общества. Остается выяснить природу этих потребностей, внутренние причины именно такого подхода к теме.

6

Роман конечно же обращен не в прошлое, а в настоящее. От прямых аналогий с современностью не уйдешь. Ситуация, в которой находится сейчас Израиль, нравственно неразрешима. Покориться напору мира — значит раствориться в этом мире и похоронить идею национального единения. Не покориться — значит попирает палестинских арабов. Казалось бы, аналогия с библейским исходом есть — евреи обретают свое место. Но это сравнение чисто внешнее. Тогда народ нес в себе новую религиозную идею, реформирующую и поднимающую на качественно иную ступень человеческое сознание. Сейчас он борется за право своего национального существования, ничего нравственно-религиозного или духовно нового в себе не неся.

Все это нехитро понять, и Марк Наумов, как любой современный еврей, подобный расклад прекрасно понимает. Беда его книги даже не в тенденциозности толкования библейского исхода. Этот материал в современном его прочтении даёт возможность ставить проблему морального выбора нации, говорить о невозможности подчас совместить нравственные нормы с жизненными национальными интересами. Такая тема имеет право на существование, тем более что она талантливо реализована. Беда в другом, в том, что писатель пытается опубликовать свою работу в советской подцензурной печати.

Будь книга опубликована в Израиле, она могла бы послужить очищению нации, талантливым напоминанием об опасности забвения нравственных устоев. Будучи издана в Советском Союзе, она служит противоположным целям, говорит читателю: вот она, еврейская агрессия, еврейский исход, вы всегда были жадными, хитрыми, кровавыми насильниками.

Возможно, я упрощаю общественную реакцию. Почему бы книге не рассчитывать на умного, доброжелательного читателя? Но в нынешней раскаленной атмосфере, когда на Ближнем Востоке завязан такой сложный узел, роман не сможет подняться над низменным политическим восприятием.

Где же, однако, основа для сопоставления романа Наумова с книгами Рыбакова и Калиновской, пьесой Борщаговского? Что общего у этих произведений? В одних случаях душная атмосфера современного местечка, тесные коммунальные квартиры, приниженность, всепрощение, в другом — библейская пустыня, восточные шатры, свирепые и сильные кочевники. Должна ли здесь идти речь о полюсах еврейского сознания, противопоставлении смирению и страху здорового и естественного мироощущения, о котором я говорил, цитируя выше статью Жаботинского. Думается, нет. Сравнение может происходить по другой линии. В позиции автора "Исхода" ощутим тот же политический расчет, то же, только, пожалуй, еще более обнаженное стремление по-своему откликнуться на "социальный заказ", что и в романе Рыбакова. В этом внутреннем редакторе, сознательно или бессознательно направляющем писательскую руку на путь общественного сервилизма, проявляется величайшее растление наших душ.



Д. БАРТОН ДЖОНСОН

МЕЖДУ СОБАКОЙ И ВОЛКОМ

О фантастическом искусстве Саши Соколова

Саша Соколов, родившийся в 1943 г. в Канаде, — автор двух наиболее замечательных романов в современной русской литературе. Первый его роман "Школа для дураков" был с восхищением принят Владимиром Набоковым. Набоков, человек отнюдь не известный великодушием своих критических суждений, превознес книгу Соколова, как "обаятельную, трагическую и трогательную".

Второй роман Соколова "Между собакой и волком" представляет собой квантовый прыжок в его литературном развитии, оставивший позади многих из его читателей.

"Школа для дураков" — это описание от первого лица психического облика безымянного шизофренического подростка, который, переступив порог двадцатилетия, рассказывает свою историю. Сквозь хаотичную призму шизоидной психики героя перед нами возникает калейдоскоп происшествий, отражающих его беспорядочное мировосприятие и его попытки войти в контакт с окружающим миром.

Переживания героя показаны прежде всего в его отношениях с родителями, обитателями дачного поселка, где его

семья проводит лето, с его лечащим врачом и с персоналом "школы для дураков", в которую он ходит. Отец относится к своему ненормальному сыну с неприязнью и негодованием. Добрая и недалекая мать мальчика выступает в роли некоего буфера между ними.

Герой романа, по-видимому, был несколько раз в психиатрической больнице, где его лечит доктор Заузе. В союзе с доктором Заузе, по мысли рассказчика, состоит Николай Горимирович Перилло, мелкий тиран, возглавляющий "школу для дураков", и завуч Шейна Соломоновна Трахтенберг, которая вечно крадет по школьным коридорам, волоча свою косолапую ногу. Им противостоят два других персонажа, занимающих главное место в психической жизни мальчика. Один из них — Вета Акатова — учительница биологии и ботаники, которую он любит и воображает своей будущей невестой. Она живет вместе с отцом, реабилитированным энтомологом, академиком, на даче по-соседству, так же как и другой предмет поклонения мальчика, — иконоборец и человек не от мира сего, учитель географии Павел (именуемый также Савлом) Норвегов. Норвегов умер еще в школьные годы героя, и вспоминаемые им беседы происходят уже после смерти учителя, исключительно в воображении юноши, так же как, впрочем, отношения с Ветой и ее отцом. Учительница биологии Вета Акатова и географ Норвегов служат как бы отправными точками для подростка в его стремлении постигнуть главное, что есть в жизни человека: любовь, секс и смерть.

Безумие рассказчика-героя знаменательно тем, что обе половины его личности находятся в непрестанном диалоге и конфликте. Доктор Заузе объясняет юноше, что он может излечиться лишь путем полного слияния этих двух половин — найти, по выражению доктора, "покой и волю". Этот совет представляет собой странное эхо другого совета, который исходит из уст кумира мальчика, учителя географии Павла. В одной из своих страстных речей тот говорит: "Знайте, други, на свете счастья нет... Но зато... есть же, в конце концов, покой и воля". Хотя оба употребляют одну и ту же фра-

зу Пушкина, их идеи диаметрально противоположны. Доктор Заузе — представитель рационализма, жуткой психиатрической больницы, тогда как Ветрогон Павел Норвегов — это пророк ветра, иррациональных сил.

К еще более острому восприятию одной из основных тем романа читателя наталкивает другой фрагмент из Пушкина. В горячем потоке сознания рассказчика проскальзывает фраза: "Да поможет нам бог не сойти с ума". Фраза эта вызывает в памяти пушкинское "Не дай мне Бог сойти с ума" стихотворение, имеющее много точек соприкосновения с темой и событиями в романе Соколова.

Пушкин говорит о могучей притягательности безумия, отождествляя его с творческим даром ("Я пел бы в пламенном бреду, // Я забывался бы в чад // Нестройных, чудных грез"), он уподобляет восторгающегося природой поэта, свободного в своем безумии, вихрю.

Итак, для героя Соколова безумие есть форма свободы, свободы от стеснений, налагаемых жестокими общественными институтами, от рационализма и от самого времени — всего того, что пресекает творческий дух.

Может быть, поэтому основные положительные герои Соколова носят имена, производные от явлений природы. Большинство из них ассоциируются с ветром, который так часто выступает у Пушкина как метафора диких, свободных сил творчества. Этим силам противостоят общественные институты и, в первую очередь, "школа для дураков" с ее бесконечными домашними заданиями, с ее администраторами, которые с таким маниакальным упорством воздвигают перед психически ущербными учениками безнадежный идеал: стать инженерами. Перед нами вырастает зловещая фигура доктора Заузе. Но самым ненавистным представителем этих поработительных официальных сил является отец мальчика — придирчивый мизантроп, по должности главный прокурор, само олицетворение официальных разрушительных сил.

Содержание и форма романа органически связаны — безумие рассказчика играет решающую роль в построении и сти-

ле повествования. Время воспринимается мальчиком, как набор дней без всякой последовательности. Все перепутано: прошлое, настоящее и будущее, нет четкой границы между жизнью и смертью.

Другой аспект безумия рассказчика — в самой структуре романа. Это бесконечное дублирование персонажей. Подобно самому рассказчику многие из них существуют одновременно в двух ипостасях, — надо полагать, вследствие шизоидного восприятия героя.

Да и внешняя структура книги сюрреалистична. Каждый раздел главы — это отдельный абзац до пяти страниц длиной. Но и внутри разделов мы не ощущаем последовательности действия. Сюжет то и дело прерывается случайными ассоциациями, связанными со словарным или звуковым потоком. И хотя в основном рассказ состоит из хорошо построенных предложений, местами он переходит в монологи, кажущиеся, на первый взгляд, не более чем шизофреническим бредом. На самом же деле — это ключевые элементы структуры романа. Некоторые персонажи рождаются в самом словарном потоке и упоминаются вначале лишь как случайные предметы или звуки, а затем развиваются в имена персонажей с различными ассоциациями. Именно в одном из таких потоков рождается Вета — учительница биологии и возлюбленная мальчика: ветка железной дороги — ветка акации — Вета Акатова.

"Школа для дураков" написана явно в традициях литературного модернизма. Но, как мы показали, уходит истоками к Пушкину. Это же мы видим и в книге Соколова "Между собакой и волком" — авангардистском романе поразительной оригинальности и смелости. Первый эпиграф автор берет опять же у Пушкина, в "Евгении Онегине. Онегин и Ленский, сидя у камина, курят трубки, пьют и беседуют. Огонь стих до рдеющих, покрытых золой углей, и надвигаются вечерние тени. Часть этой идиллической строфы составляет пушкинская вставка в скобках:

Люблю я дружеские враки
И дружеский бокал вина
Порою той, что названа

Пора меж волка и собаки,
А почему, не вижу я.

В пушкинских строках "пора меж волка и собаки" относится к тому приятному часу, когда день закончен и друзья отдыхают и беседуют. Это время дня, когда пастух не может отличить собаку от волка, угрожающего его стаду, то есть сумерки или по-английски "сумеречная зона": трудноопределимая область между двумя различными сторонами или категориями жизни, но включающая обычно характеристики обеих сторон, трудноуловимая зона между фантазией и реальностью. Эта "сумеречная зона", мир между собакой и волком, представляет собой и место действия, и тему сюрреалистического романа Соколова, это и метафора, определяющая все стороны романа.

События развиваются во вневременных сумерках. Ни время действия, ни последовательность событий не поддаются определению. Отсутствуют ссылки на историю. Войны, революция — лишь вневременные миазмы глубокой русской провинции.

Один из персонажей провозглашает теорию времени, доминирующую в самом романе. В городе время течет быстро, как в стремительном русле реки; в деревне — медленно, как в тихом ручье, а в глубоком лесу, как в стоячей воде, вообще не движется.

На каком-то уровне все эти измерения существуют одновременно и составляют стержень хаотической хронологии романа — многие события в нем представляются как бы эхом других, которые уже произошли или произойдут. В этом мире следствие может предшествовать причине, в нем сосуществуют такие взаимоисключающие состояния, как жизнь и смерть, это мир, в котором противоречивые версии тождественных событий одинаково правомерны.

В отличие от неопределенности времени, географическое место действия романа весьма точно. Повествование развивается на Верхней Волге, называемой здесь ее татарским именем Итиль. Итиль — это своеобразный центр физической и метафизической географии мира между собакой и волком,

ибо его воды отделяют живых от мертвых. Это разделение более чем смутно, так как реку многократно переходят в ту и другую сторону, особенно в зимние месяцы после ледостава.

На одном берегу расположено селение Быдогощ, населенное душами усопших. На другом берегу — Городнище, город нищих и воров, калек и уродов. Этот город и его жители изображены на картине, описанной одним из персонажей — будущим художником. Вся эта сцена с ее подробностями — картина "Возвращение охотников", написанная в 1565 г. Питером Брейгелем Старшим. Выбор брейгелевского фламандского городка шестнадцатого века в качестве прототипа для Городнища намекает на многомерность концепции времени, лежащей в основе романа. (Картина эта, между прочим, находится в Музее истории искусств в Вене, где Соколов видел ее вскоре после того, как эмигрировал в 1975 г.)

Основное событие, вокруг которого выстроена книга, как и многое в повествовании, вытекает из заглавия. Главного героя Илью Зынзырэлу убивают потому, что он в буквальном смысле не может установить разницу между собакой и волком. Илья, одноногий калека, бродячий точильщик, возвращается с поминок домой по замерзшему Итилю. Наступают сумерки, и ему кажется, что за ним крадется волк. Испытанный пьяной отваги, он бросается в бой и в битве, в чем-то не менее эпической, чем Ледовое побоище, отбивается от волка костылями. На самом же деле это не волк, а собака, принадлежащая егерю и псарю Якову Паламахтерову, который в отместку крадет у Ильи костыли. Междоусобица набирает силу: Илья убивает двух собак егеря, и в отместку его топят.

Основная часть повествования — это серия бессвязных писем Ильи. Письма эти настолько фрагментарны, что читателю приходится кропотливо реконструировать фабулу, завершающуюся убийством. Лишь очень постепенно становится очевидным, что Илья мертв. Его письма, адресованные следователю по уголовным делам Пожилых, переполнены колоритными и сбивающими с толку подробностями. Многие в них — несомненная выдумка, и многое усложнено различ-

ными вневременными деталями. Читателю приходится прокладывать путь в многомерном лабиринте, чтобы обнаружить убийц и, что еще важнее, выяснить историю отношений между жертвой, убийцей и объединяющей их женщиной.

Сюжетная линия книги слишком сложна и умозрительна, чтобы ее можно было хотя бы вкратце изложить. Лишь к концу повествования косвенным образом дается понять, что Яков — убийца Ильи. Не дается, однако, понять, что, убив Илью, Яков поднял руку на собственного отца, о чем ни тот, ни другой не подозревают. Но это еще не все. Орина, некогда жена Ильи и мать Якова, является центральной женской фигурой повествования. Она воплощена также и в некоторых других женских персонажах, особенно в умственно неполноценной девушке (или, может быть, девушках), которую любят Илья и Яков. Благодаря смешению Орины и дефективной девушки Яков влюблен в собственную мать (и, возможно, соблазнен ею). Таким образом, Яков, ничего не подозревая, убивает собственного отца и "женится" на собственной матери. Соколов заново воспроизвел греческий миф об Эдипе у истоков Волги. Миф об Эдипе дает систему отсчета в мире между собакой и волком, в этой многомерной "сумеречной зоне", в которой все возможно и нет ничего определенного.

"Между собакой и волком" — книга о языке и стиле. Линия повествования почти неуловима, но язык столь богат и насыщен, что в значительной мере подменяет собой традиционные требования, предъявляемые к жанру романа.

Из заглавия книги вытекает и ее доминирующий стилистический прием — многочисленная идеоматика, смысл которой не выводится непосредственно из ее элементов, как, например, "за семь верст киселя хлебать". Фразеологизм есть в первую очередь черта разговорной речи. Поэтому он находит естественное место в полуграмотной бессвязной речи Ильи — бродячего точильщика. Его повествование — самое значительное в романе Соколова — приближает и сам роман к традиции сказок.

Саша Соколов — мастер словесной игры, каламбура,

столь часто осуждаемого литературного приема. Но Соколов вышел за пределы простого словесного каламбура и создал мир каламбура фразеологического. Лучший пример — само название романа: "Между собакой и волком" с его двойным значением — переносным и прямым. Обе интерпретации титульного листа исключительно соответствуют содержанию романа. Такого рода сложную словесную игру можно обнаружить во многих фразеологизмах рассказчика, и именно в таких двойных употреблении фразеологизмов мы видим наиболее отчетливый стилистический прием романа.

Важную роль в романе играет пародия. Так же, как и заглавие, она имеет двойной смысл. Два текста, один из которых основан на другом, похожи, но различны, и различие это решающее. Успех пародии и даже самое ее существование основано на двух факторах: знании оригинального текста и опознании его последующего искажения. Надо уметь отличить волка от собаки. Соколов использует пародию на многих уровнях, и прежде всего в четырех крупных стихотворных кусках, приписываемых псарю, а также художнику и поэту Якову.

Хотя здесь и отражаются голоса многих русских поэтов, пальму первенства следует отдать Пушкину, у которого Соколовым взято и название романа. Одной из аксиом советской литературной критики является убеждение, что Пушкина невозможно пародировать, ибо пародия на Пушкина означала бы пародию на сам русский язык. Соколов отрицает оба эти положения, он пародирует и Пушкина и русский литературный язык на каждом шагу. Весьма показательным, что первым по времени написания фрагментом книги было стихотворение "Как будто солью кто..." описывающее первый снегопад года. В стихотворении говорится о скуке автора — Якова, — который пресыщен охотой и ищет других развлечений: "И тошно так, сказать по чести, // Что не поможет верный эль. // Чубук ли несколько почистить, // Соседа ль вызвать на дуэль?"

Тридцать семь стихотворений книги, тематически составляющие одно целое с фабулой повествования, представляют

собой восхитительную смесь пародии и причудливого голоса самого Соколова. Как и проза, они насыщены фразеологическими каламбурами, идиомами, причудливой языковой игрой.

Яков претендует на роль создателя прозы, так же как и поэзии. Похоже, что здесь его вдохновители — Гоголь и Лермонтов. Наиболее ярко русская литература девятнадцатого века, и Гоголь в особенности, пародируются в пятой главе, тема и содержание которой — имитация и мимикрия. Глава открывается обсуждением "Автопортрета в мундире" художника Якова, картины столь жизнеподобной, что художник не может отличить ее от самого себя.

Размышляя над волнующим вопросом, делать ли копию автопортрета, легко возбудимый Яков решает "не подавать виду". Поскольку последнее слово означает также и вид биологический, идея человеческого укрытия ведет к идее мимикрии в царстве насекомых. Некоторые насекомые, например горбатый патагонский сверчок, которому уподоблен Яков, достигают сходства с несъедобными предметами именно путем сохранения неподвижности. За подробностями читатель отсылается к научному тому прошлого столетия. Этот том, рассматриваемый Яковым, содержит подробный адрес московского издателя, и этот адрес, дата и тема мимикрии побуждают Якова вообразить длинный эпизод, случившийся в издательстве девятнадцатого столетия. Перед тем как скатиться в совершенный соколовский сюрреализм, язык и фабула этой сцены пародируют многое в литературе того времени.

Эта глава с ее обсуждением мимикрии в искусстве и природе вместе со вставной сценой в ложном духе девятнадцатого века повторяет на все лады тему пародии и представляет собой конспект взглядов самого Соколова на литературу. Наряду с другими писателями постмодернизма Соколов обнаружил, что одним из немногих возможных направлений эволюции романа является его возвращение к собственной истории через пародию — литературную форму, которая более чем какая бы то ни было другая лежит в "сумеречной

зоне" между собакой и волком.

Произведения Соколова парадоксальны. Некоторые из их черт принципиально отделяют его романы от русской литературной традиции, тогда как другие представляют собой несомненную часть этой традиции. Волк и собака не покидают нас и здесь. Оба романа глубоко и полностью русские, диапазон их культурных аллюзий: от "Задонщины" и "Моления Даниила Заточника", через русских классиков и до современной прозы. Намеки на нерусских писателей исключительно редки. О роли русской культурной традиции в произведениях Соколова свидетельствуют неизменно присутствующие здесь частушки, поговорки, пословицы, фольклор и песни, часто блатные.

Несмотря на эту глубокую связь с русской традицией, произведения Соколова фундаментально отличаются и по мировоззрению и по технике от главного русла русской литературы и прошлого и настоящего (включая литературу и советскую и эмигрантскую). Оба его романа характеризуются отсутствием какого бы то ни было интереса к социальным, политическим и моральным проблемам. Но если все же говорить о связи Соколова с русской литературной традицией, то, пожалуй, он ближе всего к писателям символизма и футуризма. Доминирующая роль звуковой структуры, столь характерной для прозы Соколова, обнаруживается в произведениях Андрея Белого — на ум приходит его роман "Серебряный голубь". Причудливо фрагментированное, калейдоскопическое повествование Соколова напоминает местами стиль Велемира Хлебникова. Соколов, однако, почти начисто отрицает знакомство с работами этих мастеров в ранние свои писательские годы. Параллели в подходе к материалу и в стиле с этими и другими писателями (такими, как Пильняк, и из более современных — Терц-Синявский) кажутся, скорее, результатом сходного эстетического восприятия, нежели "влияния". Знание этих русских писателей помогает подготовить читателя к чтению Соколова, но, пожалуй, все же не более чем знание произведений Джойса или Роб-Грийе.

С писателями модернизма (а теперь и постмодернизма)

Соколова объединяет, скорее, лингвистическое чутье. В каком-то смысле романы Соколова — это вовсе не повествования, но довольно изоощренные и тонко отделанные словесные построения, относящиеся в первую очередь к самим себе. Это искусство, обращенное на самое себя, отдистиллированное до высочайшей степени чистоты.

Автор хотел бы выразить свою признательность Саше Соколову за охотные ответы на вопросы о его произведениях, а также поблагодарить профессора В.Крейна, любезно позволившего автору прочесть рукопись его статьи "Зайтильщина", дающей хорошую общую ориентацию в отношении романа Соколова "Между собакой и волком".

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО



Андрею Дмитриевичу Сахарову

— Из чего твой панцирь, черепаха? —
Я спросил и получил ответ:
— Он из мной накопленного страха,
Ничего прочнее в мире нет.
Василий Гроссман

Раиса БЕРГ

ПАЛАЧИ И РЫЦАРИ СОВЕТСКОЙ НАУКИ

За кулисами советской науки

В 1930 г. я подала документы на биологический факультет Ленинградского университета и была принята. Держать экзамены мне не пришлось. Их отменили. Принимать стали исключительно по классовому признаку. Поступающий должен предъявить документы об окончании школы, рабфака или школы крестьянской молодежи и свидетельство своей классовой избранности. Как я попала в число будущих интеллигентов нового типа?

Счастливым поворот судьбы был продиктован страхом. На этот раз страшиться пришлось властям. Они боялись саботажа и вредительства со стороны преподавателей вузов, чьи дети лишены возможности вкушать плоды просвещения. Мой отец был профессором университета. Ленинский принцип задабривания врага с целью использовать его, прежде чем уничтожить, сработал.

Я попала в число избранных.

Ни администрация, ни сами студенты не стремились к равенству. Деление на "чистых" и "нечистых" не ограничивалось классовым принципом. Среди угодных были особо угодные — ударники, выделяемые из своей среды студентами. И еще были выдвиненцы. Ударник добывал привилегии усердием. Выдвиненцы назначались свыше, и их будущее было обеспечено. Очевидно, они имели заслуги перед властями и награждались за них правом сперва числиться студентами, потом аспирантами, потом занять посты директоров советских учреждений.

Первым выдвиненцем, которого я встретила в университете, был Давыдов. Карьеры он не сделал. Пережитки капитализма погубили его. Ему было под тридцать, пора было жениться, а тут интеллигентные девочки прямо со школьной скамьи. Он женился на Оле Топоровой. Отец и мать ее — врачи, преподаватели Медицинского института. Из общежития Давыдова переселили в их квартиру. Пережитком прошлого в его сознании оказалась ревность. В припадке ревности он ударил молодую жену топором в висок. Ее спасли, после этого она ушла с факультета.

Я увидела ее тридцать четыре года спустя, 13 марта 1964 г., на общественном суде над И.Бродским, "над тунеядцем Бродским", как именовали поэта анонсы в фойе клуба, где шел суд. Оля Топорова была его адвокатом.

Другой выдвиненец — Коверга — с первых дней после поступления в университет развернул в его стенах классовую борьбу. Мишень: профессор ботаники, знаменитый путешественник, будущий президент Академии наук СССР Владимир Леонтьевич Комаров.

На вводной лекции он говорил о той многообразной пользе, которую приносят растения человеку, — слушать его для нас было сущей радостью. Полноценной пищей он называл ржаной хлеб с луком — пищу русского крестьянина. Коверга выиграл: налицо была замаскированная диверсия, ее цель — продемонстрировать высокий уровень жизни крестьян в дореволюционной России и тем самым дискредитировать революцию.

Комаров получил взыскание, а Коверга продолжал процветать. По окончании аспирантуры он был назначен директором Никитского ботанического сада на Черном море. Я встретила его в 1968 г., он был на пенсии и жаловался мне, что зря прожил жизнь. До последнего дня он так и остался убежденным сталинистом.

Ходить на собрания в те годы было обязательным. Помню, как нам предложили выступить с осуждением вредительской группы — Промпартии. За смертную казнь проголосовали единогласно.

Много лет спустя, вспоминая эти дни, я спросила отца: "Неужели никто и никогда на подобных собраниях не протестовал"? Отец сказал, что ему известен лишь один случай. Дело происходило на собрании в Академии Наук. Также голосовали за вынесение смертного приговора кому-то из безвинных.

Когда председательствующий спросил, кто воздержался, поднялась одна-единственная рука — это был Владимир Иванович Вернадский. Его тут же попросили мотивировать свою позицию. "Я в принципе против смертной казни", — сказал Вернадский. "А ты? — спросила я отца, — ты с ним согласен?" — "Я на эти собрания никогда не ходил", — сказал отец.

Итак, сегодня собрание по делу Промпартии, завтра — общественный суд над Мордухаем-Болтовским и его группой. Общественный суд идет в актовом зале университета. Студент Мордухай-Болтовский — сын знаменитого профессора Ростовского университета Мордухая-Болтовского — писал отцу письма из Ленинграда в Ростов. Однажды он обронил не отправленное письмо, оно попало в бюро комсомола, где его разумеется, вскрыли, и автор оказался на скамье подсудимых.

Чтобы было похоже на процесс Промпартии, сколотили группу обвиняемых, в основном из интеллигентных семей. Общественные обвинители — профессор И.И.Презент и аспирант Э.Ш.Айрапетьянц. Защитников на процессе не было. Импровизированные прокуроры метали грома и молнии, обвиняли подсудимых в бытовом разложении, саботаже общественных мероприятий, клевете на советскую власть. Этот

фарс стал своего рода фланговой атакой против профессоров университета, которые якобы поощряли разврат и антисоветские настроения студентов. Никто не вступился за обвиняемых, а из обвиняемых защищался только один — генетик Димитрий Михайлович Кершнер. Во время речи Презента, в том ее месте, где, бичуя разврат, он гневно воскликнул: "Стол был уставлен бутылками", — Кершнер попросил слова. Он очень медленно поднялся и обратился к Презенту:

— Гражданин общественный обвинитель, разрешите уточнить данные, приведенные в вашей обвинительной речи. Вы сказали, что стол был уставлен бутылками. Бутылок было две.

Кершнер сел.

Общественный обвинитель заявил, что на развратных собраниях группы враги советской власти пели антисоветские песни. И снова Кершнер своим тягучим голосом, без малейшей интонации попросил разрешения уточнить:

— Мы не пели антисоветских песен, мы пели латинский гимн "Гаудеамус игитур" — "Веселитесь же, друзья, пока молодость с вами".

Кершнера выгнали из университета.

В год моего поступления в университет Презент повел огонь по Вернадскому и моему отцу.

Начало 20-го века ознаменовалось подлинным расцветом русской культуры. Революции вершились в музыке и живописи, в литературе и театре, в точных и в гуманитарных науках. Вернадский прославил свое время как геолог, Берг внес свой вклад, будучи географом.

География как наука распалась на части. Климатология, геоморфология, гидрология процветали. География прекращала свое существование. Отец возродил ее: география стала наукой о взаимодействии живых и неживых элементов ландшафта, включая человека. При разумном подходе книга Берга "Ландшафтные зоны" могла бы быть настольной книгой руководителей Госплана, а не поводом для его травли.

Научная полемика превращалась в те годы и в политические доносы, за которыми следовала кара без суда и следствия.

Заплечных дел мастером в этой "полемике" выступал Презент. Незадолго перед моим поступлением в университет он затравил Юрия Александровича Филипченко — основателя первой в России кафедры генетики. Филипченко покинул университет. Через несколько месяцев после этого, в мае 1930 г. ученый умер от туберкулезного менингита.

Десять лет спустя жертвами Презента стали Г.Д.Карпеченко и Г.А.Левитский — профессора Ленинградского университета, они оба были гордостью русской науки.

В начале тридцать первого года в местной газете "Ленинградский университет" появилась статья Презента, срывающая маску с "классового врага" географа Берга. Его ландшафтоведение не что иное, как открытая борьба с марксизмом, идеализм и мракобесие. Карикатура изображала отца мужиком в русских сапогах и в косоворотке, подпоясанной веревкой. Огромная фигура высилась над убогой деревенькой — кучкой покосившихся изб. Отец вздымал к небу две книги: "Номогенез" и... Ремарка "На западном фронте без перемен".

"Номогенез" — книга Берга, где воплотилось его научное кредо — теория эволюции на основе внутренних закономерностей. Эта теория противостояла дарвинизму. Отец отказывался признать естественный отбор, борьбу за существование причиной прогрессивной эволюции органического мира. Книга Ремарка символизировала пацифизм отца.

Обличая отца, Презент особенно яростно обрушился против его следования Ламарку — это тоже была крамола. Дарвин причислен к лику марксистских святых и критиковать его — значило посягать на святая святых марксизма.

Мне кажется, что больше всего отца оскорбило обвинение в идеализме. Помимо философского смысла, он вкладывал в это слово морально-этическое содержание. Идеализм означал для него бескорыстное служение идеалу. Презент же употреблял это слово как бранное.

Отец отказался от заведования кафедрой и покинул университет. Сделай он это несколькими месяцами раньше, не видать бы и мне университета как своих ушей.

Презент читал нам в те дни введение в философию диалектического материализма. И на первой же лекции среди классовых врагов упомянул идеалиста Берга. Непонятным образом он обращал свою лекцию не к почти тысячной аудитории студентов — дело происходило в Большой физической аудитории университета, — а к одной студентке, чем-то напоминавшей мадонну Боттичелли — красавице Наталье Ельциной. Стоя на кафедре, он буквально не сводил с нее глаз.

Так получилось, что после лекции мы одновременно с ней подошли к Презенту выяснить рекомендованную литературу. Презент спросил, кто я. Я назвалась. Он круто повернулся к "мадонне" и воскликнул:

— Так разве не вы Берг?!

Классовое чутье подсказывало ему, как должна выглядеть дочь идеалиста.

В университете я надеялась получить образование по бионике. Так именовалась занимавшая меня область знания. Моя бионика должна быть эволюционной. Бионике не преподавали. Наиболее близкой к теории эволюции оказалась генетика, я избрала ее.

Практику по генетике вел Николай Николаевич Медведев. Дрозофила, его знаменитая дрозофила, служила нам подопытным животным. За все время существования человечества только два объекта изучения были под запретом — человек и плодовая мушка дрозофила. Человек — во время инквизиции, муха — в сталинское время. Но запрет возник позже, а в 1931 г., когда Николай Николаевич Медведев преподавал в Ленинградском университете, запрета еще не было.

В Ленинград, по приглашению директора Института генетики Н.И.Вавилова, приехал крупнейший американский генетик Г.Дж.Меллер. Николай Николаевич рекомендовал меня ему в качестве лаборанта. Я явилась к Меллеру ни жива ни мертва, исполненная благоговения перед великим первооткрывателем законов природы. Он спросил меня, нуждаюсь ли я в зарплате, и я солгала, что не нуждаюсь. Стипендию я не получала, детям богатых родителей она не полагалась. Я

зарабатывала изготовлением таблиц — иллюстраций к лекциям. Меллер пожалел меня, и, вместо того чтобы стать его лаборантом, я получила тему и должность сотрудника в Академии наук.

В 1934 г. (я была уже на четвертом курсе и работала над дипломом в Институте генетики) Презент читал нам курс под названием "Диалектика природы". Каждая отрасль биологии подвергалась ревизии с классовых позиций. Дошло дело и до генетики. Презент говорил, что от условий жизни зависят не только признаки организма, но и характер передачи признаков из поколения в поколение. "Я выдвигаю смелую гипотезу: сцепление и перекрест определяются внешними условиями", — заявил он. Мы не были широко образованными биологами. Но генетику мы знали. И то, что говорил Презент, было в наших глазах элементарнейшим невежеством.

После лекции я подошла к нему и спросила, когда впервые он выдвинул гипотезу о влиянии внешних условий на сцепление и перекрест.

— Что вы имеете в виду? — спросил Презент.

— Я имею в виду опыты Плу по влиянию температуры на развитие дрозофилы, — сказала я, — и опыты Меллера и Альтенбурга по перестройке хромосом под воздействием Х-лучей. Внешнее воздействие создает новые группы сцепления.

— Но я ведь не читаю специальной литературы, я критикую принципиальные установки науки, — сказал профессор.

— Опыты Плу у Моргана в его "Структурных основах наследственности" описаны, книга на русском языке есть. Филиппченко еще в 1926 году перевел и издал ее, — сказала я.

Презент, однако, нисколько не смущен:

— Да разве одни только сцепления и перекрест пребывают в арсенале нелепостей? — риторически воскликнул он. — А что вы скажете о такой чепухе, как линейное расположение генов в хромосомах?

— Но это же факт, — не уступала я, — и он получил блестящее подтверждение совсем недавно.

Надо мной сгустились тучи, и гроза разразилась уже на

следующей лекции Презента. Читал он, как всегда, в Большой гистологической аудитории. Он начал было лекцию, но внезапно прервал ее и обратился к аудитории:

— А теперь пусть Берг изложит нам марксистско-ленинскую теорию познания.

По всем общественным предметам, включая курс диалектического материализма, у меня неизменно были пятерки, но выйти и начать читать перед аудиторией, не собравшись с мыслями, я не могла.

— Я не могу без подготовки, — сказала я.

— Вы отказываетесь отвечать? — спросил профессор.

— Да, — сказала я.

— Кто ответит? — спросил Презент.

Вызвался выдвигенец Л.Е.Ходьков. Он кричал, что вот, вредители утверждали, что без формул, без их каких-то там "фи" нельзя построить Волховстрой, а рабочие взяли и без "фи" ихнего построили. Одна из студенток воскликнула: "А при чем тут теория познания?" Презент прервал своего доброжелателя и сказал:

— Я прошу общественные организации факультета ударить по рукам зарвавшегося классового врага — студентку Берг, — она срывает активный метод преподавания, который я применял и буду применять и впредь.

Это был первый случай его обращения к аудитории, и я прервала поток его брани:

— Профессор Презент, вы слишком много внимания уделяете мне в вашей лекции.

Воцарилась гробовая тишина.

Партийная организация Института генетики, где я заканчивала дипломную работу и где собиралась продемонстрировать Презенту гигантские хромосомы дрозофильных личинок, потребовала моего удаления из института. Вавилов сам пришел ко мне поздно вечером и сказал, что ему не удалось отстоять меня. Но он не очень и старался. Институт в ближайшее время переезжал в Москву. Я перешла работать в университетскую лабораторию.

Почему меня не удалили из университета? Скорее всего,

потому что Презенту было просто не до меня. Трофим Денисович Лысенко стремительно шел в гору. Малограмотный агроном занял пост научного руководителя Всесоюзного Института генетики и селекции в Одессе и был избран действительным членом Академии наук Украинской республики. Презент поспешил стать под его знамена.

Итак, избежав отчисления, я подхожу к концу своего университетского образования. Моя дипломная работа завершена и опубликована в "Докладах Академии наук". Я — председатель секции генетики Студенческого научного общества — работала с группой студентов по теме, предложенной Меллером. Мы изучали соотношение между дозой облучения и частотой внутрихромосомных перестроек у дрозофилы. Работали мы за городом, в Петергофском биологическом институте, во дворце графа Лейхтенбергского, бежавшего во время революции за границу. Петергофский институт служил университету летней базой для практических занятий со студентами. Дело было зимой. Во дворце нет электричества. Мы работаем при керосиновых лампах. Термостатом служила комната, обогреваемая керосиновыми лампами. Заведующий кафедрой Александр Петрович Владимирский просил нас развернуть исследовательскую работу именно там. Городские власти грозили отнять дворец у университета, раз он зимой пустует. И теперь, когда заработали лаборатории, дворец удалось отстоять.

Меллер по пути из Москвы в Париж, где он должен был возглавить Международную конференцию по радиационной генетике, приехал в Ленинград и заглянул в нашу лабораторию в Петергофе. Мы первыми в мире показали, что внутрихромосомные перестройки возникают под действием Х-лучей в результате двух разрывов. Доклад Меллера в Париже включал наши данные.

Между тем подошло время защиты диплома. Три статьи, опубликованные в журнале "Genetics" в США, три статьи, опубликованные в трех разных журналах в СССР, — это моя дипломная работа. И все же жестокий бой выдержал заведующий кафедрой А.П.Владимирский, чтобы оставить меня в

аспирантуре при своей кафедре. Общественные организации наложили на мою кандидатуру вето. В газете "Ленинградский университет" появился фельетон. Меня упрекали в пренебрежении общественной работой.

Из Москвы приехала комиссия проверять классовый состав выдвинутых в аспирантуру. Меня вызвали. Ректором по научной части университета был Э.Ш.Айрапетьянц, один из общественных обвинителей на суде по делу Мордухая-Болтовского. Он знакомил членов комиссии с будущими аспирантами. Снова началась процедура проверки моей классовой благонадежности.

Это были дни всенародного ликования. Со страниц газет не сходили имена Чкалова, папанинцев. На льдине дрейфовал П.П.Ширшов — гидролог, в 1938 г. ставший академиком. (Между прочим, он был одним из членов группы Мордухая-Болтовского.)

Меня спросили о беспосадочных полетах Чкалова. Не слышать о них было невозможно, но мне не хотелось говорить на эту тему. Я сказала, что не имею солидных знаний в этой области, так как занята своим делом — мухами. Несмотря на это, мне объявили, что комиссия не будет возражать против моего приема в аспирантуру, учитывая заслуги моего отца. "Раз мой отец имеет заслуги, вы его и оставляйте в аспирантуре", — ответила я.

Владимирский и двое других преподавателей кафедры заявили, что они покинут университет, если я не буду оставлена при кафедре. Впрочем, ничто бы не помогло, если бы действительно не были учтены заслуги отца. К тому времени географический факультет пришел в полный упадок. Руководство университета просило академика Берга вернуться на факультет. Отец вернулся, а меня приняли в аспирантуру.

МЕЛЛЕР

И наступили блаженные четыре года, когда я беспрепятственно могла заниматься наукой и дамоклов меч не висел над моей головой и в газете не появилось ни одного пасквиля,



**Лев Семенович Берг на Университетской набережной.
Ленинград. 1947 г.**

срывающего маску с лица классового врага.

Главные события этих лет — отъезд Меллера и мое вступление на стезю популяционной генетики. Это произошло в 1937 г. Террор этого года затмил и превзошел все чудовищные кровопролития прошлого. Институт генетики переехал в Москву, но я поддерживала связь с Меллером, ездила к нему, показывала результаты опытов.

Вклад Меллера в мировую науку не соизмерим ни с чем. Он один из создателей хромосомной теории наследственности. Первым в мире он применил ионизирующие излучения для искусственного получения наследственных изменений — мутаций. Он разработал методы, позволяющие различить вновь возникающие, новые мутации и те, что в скрытом виде существовали в половых клетках дрозофил. Меллер подверг дрозофил температурным и лучевым воздействиям. Лучи Рентгена повысили частоту возникновения мутаций в сотни раз. Ученый первым указал на опасность, грозящую потомству лиц, подвергающихся облучению. По его предложению, было решено, насколько возможно, сократить применение облучения с диагностическими и лечебными целями. Меллер по существу создал новую науку — радиационную генетику и как ее основатель был удостоен Нобелевской премии.

Но как ни был велик его вклад в науку, не исследование природы было целью его жизни. Молодой ученый непрестанно мечтал о совершенствовании человеческого общества, он жаждал избавить его от физических и духовных страданий. Меллер был уверен, что только переустройство общества на социалистических началах позволит изменить жизнь человека. Свои лучшие надежды он возлагал на Советский Союз и сам хотел находиться в той точке земного шара, где, по его мнению, вершились судьбы грядущего.

В 1936 году он уехал в Испанию, чтобы сражаться за свободу республики, спасал в Мадриде из горящего здания университета библиотеку.

За свои убеждения во время краткого пребывания в США Меллер подвергся нападению ку-клукс-клановцев. Его хотели раздавить машиной, сбили с, ног. Пальто его было

разорвано. Все это он мне сам рассказывал.

В начале 30-х годов Меллер написал книгу "Из ночи" ("Out of the Night"). Из ночи современности он призывал человечество сделать все возможное, чтобы приблизить светлое будущее — коммунизм. Сам человек подлежал изменению. Доброта и ум должны стать главными критериями оценки человеческой личности. Мера, которую можно применить уже в ближайшем будущем, — это искусственное осеменение с целью усовершенствования человека.

Приехав в Советский Союз, Меллер добился, чтобы перевод его книги был показан властям. К его проекту улучшить человеческий род власти отнеслись крайне прохладно. У них был куда более "эффективный" способ перековки человека, и они совершенно не нуждались в Меллере с его генами и банками замороженной спермы лучших представителей человеческого рода.

В 1933 году, когда Гитлер пришел к власти, Меллер покинул Германию. Незадолго перед тем он был избран иностранным членом-корреспондентом Академии наук СССР. В этом же году Вавилов пригласил Меллера занять пост заведующего отделом общей генетики в Институте генетики Академии наук СССР. С директором института Николаем Ивановичем Вавиловым Меллера связывала тесная дружба.

Американский генетик Бентле Гласс, одновременно с Меллером стажировавшийся в Берлине, говорил ему, что все тоталитарные режимы на одно лицо и что в России он найдет гитлеризм в иной его форме, но Меллер всего этого не хотел слышать.

Меллер переехал в Ленинград в момент, когда воссоединились две мощные деструктивные силы — Лысенко и Презент и генетика повисла над бездной, куда пятнадцать лет спустя ей предстояло рухнуть.

Меллер ринулся в бой с Лысенко и с Презентом. В 1936 г. он выступил на очередной сессии Академии сельскохозяйственных наук вместе с А.С.Серебровским и Н.И.Вавиловым.

Ламаркизм в его карикатурном виде стал знаменем Лысенко и Презента. Касаться генетики человека было запрещено.

но. Дискуссия ограничена вопросами сельского хозяйства. Серебровский и Вавилов подчинились запрету. Меллер был единственным, кто нарушил его. Он говорил, что принцип наследования приобретенных признаков на руку расистам. Богатые расы и эксплуататорские классы, вкушая из поколения в поколение прелести бытия, пользуясь плодами просвещения, совершенствуют свою "породу". Пролетарии обречены, согласно этому принципу, на деградацию.

Меллер приводил все новые доказательства в защиту теории наследственности. Серебровский и Вавилов говорили о пользе, которую уже сейчас приносит генетика сельскому хозяйству. Презент жонглировал словами. Ламаркизм Берга был назван в свое время поповщиной. Ламаркизм Лысенко именовался теперь творческим дарвинизмом.

Зал бурно аплодировал, и я в том числе, когда Серебровский рассказывал, как он "покупал" гены. Отправились за кроликами породы "рекс" в Германию. (Серебровский тогда заведовал кафедрой генетики и селекции в Институте кролиководства.) "Рексы" стоили слишком дорого. Платить надо было валютой. Серебровский купил двух плебейского вида, дешевых, выносливых кроликов, зная, что они гибриды и что в их генотипе содержится ген, придающий кроличьей шерсти драгоценные свойства породы "рекс". В Москве гибридам предоставили возможность плодиться. Вскоре часть их потомства обрела чудо-шерсть "рекс".

— Нет наследования признаков. Признаки развиваются в каждом поколении заново в результате взаимодействия генотипа и среды, — говорил Серебровский. — Из поколения в поколение передаются не признаки, а гены. Вероятность, что ген будет передан следующему поколению, не зависит от того, выявился или не выявился соответствующий ему признак. Мы знали не только, что в потомстве гибридов родятся нужные нам крольчата. Мы могли предсказать, сколько их будет.

Серебровский мог убедить аудиторию, но не правительство и не прессу.

Между тем пребывание Меллера в Советском Союзе ставило под удар не только его самого, но и Вавилова. В 1937 г. Вавилов посоветовал Меллеру уехать.

Я только что вернулась из экспедиции и сразу же уехала со своими мухами в Петергоф, где днем и ночью сидела за биноклем. В канцелярию Петергофского института позвонил отец и сказал, чтобы я немедленно ехала в Ленинград, Меллер уезжает, и Вавилов приглашает меня к себе к шести часам вечера на проводы.

В Петергофе к тому времени уже провели электричество, но ни ванны в общежитии, ни бани не было. Я была грязна, как сапог, и, приехав в Ленинград, мылась, приводила себя в порядок, а отец негодовал, опасаясь, что я опоздаю.

— Я не стал бы звонить тебе, если бы знал, что ты будешь вести себя так безобразно!

Но я не опоздала. В квартире Вавилова я застала Меллера одного. Вавилов был на каком-то заседании. Когда он вернулся и вошел в свой кабинет, то застал картину, которая, вероятно, привела бы отца в ужас. Я лежала на диване на животе, Меллер стоял на коленях рядом с диваном. Мы чертили кривые и схемы скрещиваний...

К ужину Вавилов пригласил всего несколько человек. Помню среди них профессора университета Марию Александровну Розанову. Потом Вавилов повел нас в кино. Смотрели фильм "Петр Первый", гуляли по ночному Ленинграду. Меллер провел последнюю ночь в России в гостинице "Англетер" на Исаакиевской площади. "Англетер" — прежнее название гостиницы, теперь это "Астория". (В "Англетере" Есенин покончил жизнь самоубийством, и Маяковский в стихотворении "На смерть Есенина" вспоминает это название.) У входа в "Англетер" в первом часу ночи мы и расстались.

— Завтра в пять утра встреча на этом же месте, — сказал Вавилов, прощаясь.

Спать оставалось часа два с половиной. Я попросила няню разбудить меня, и в пять была в назначенном месте. Вавилов принес яблоки и угощал нас. Выглядел он великолепно. Чтобы выспаться, ему достаточно было трех часов.

В то время Вавилов возглавлял не только Институт генетики, он создал новый Всесоюзный институт растениеводства. Вавилов на прощание хотел показать Меллеру свое дети-



Николай Иванович Вавилов. 1937 г.

ще. Его машина подъехала к "Англетеру", чтобы везти всех нас в Детское село, где помещался загородный филиал института. Он возил нас по участкам, где высевались образцы культурных растений, собранные ученым буквально во всем мире. Великолепные, с большими голубыми цветами абиссинские льны, напоминающие порослят розовые клубни картофеля — все на этом поле поражало глаз.

В лаборатории по изучению злаковых культур нас угощали маленькими хрустящими хлебцами.

В одной из лабораторий сервировали завтрак: чай, белый хлеб, копченая рыба и плиточный шоколад. Шофер, привезший нас, завтракал вместе с нами. Я тотчас обратила на это внимание. Отец, при всем своем толстовстве, не посадил бы шофера с собой за один стол.

Мы вернулись в Ленинград. Вавилов отправился на очередное заседание, и я была единственным человеком, проводившим Меллера, который навсегда покидал Россию. В кабинете Вавилова Меллер оставил заявление, мотивирующее его отъезд. Он уже собирался уходить, но замешкался, снова вернулся в кабинет и объяснил мне причину возвращения: "Я написал в заявлении, что вернусь через два года. Я переправил. Я вернусь через год". Он не вернулся никогда...

МУХИ НИКИТСКОГО САДА

Проводив Меллера, я уехала на Черное море в Никитский ботанический сад. На его винодельне и на винном заводе, расположенном у моря, среди кипарисов (кипарисовая аллея, изгибаясь, вела к заводу) я ловила теперь дрозophil.

Дрозophilы прекрасны. Смотреть на них в бинокляр — одно удовольствие. Их красные фасеточные глаза подобны горящим гранатовым люстрам, их прозрачные крылья отливают радугой, щетинки, покрывающие тело мухи, как заметил как-то один коллега-китаец, кажутся сделанными из нейлона.

В цитологической лаборатории (Никитский сад — филиал Института растениеводства и подчинялся Вавилову) я обосновалась со своим бинокляром и пробирками с мухами.

Преграды возникали одна за другой. В состав мушиного корма входят дрожжи. Сухие дрожжи в Ленинграде я достать не могла, взяла свежие, прессованные. Их я и попросила положить в ледник институтской столовой.

На протяжении тридцати пяти лет я двенадцать раз ездила к мухам Никитского сада, жила здесь по месяцу и дольше. Всегда питалась в здешней столовой и хуже забегаловки никогда не встречала. Но в тот раз я была поражена: на другой день после моего приезда в столовой появились прекрасные пышки. Ничего не подозревая, съев пышки, я пошла в ледник за своими дрожжами, но оказалось, что они исчезли.

— Где дрожжи?

— А пышки вы ели?

Вот так я лишилась возможности работать. Дрожжи в Крыму — самый дефицитный товар. В институте работала женщина, дочь заведующего продуктовой базой в Ялте. Она написала записку отцу, и я на автобусе отправилась в Ялту. Только отъехали — горный обвал, дорогу завалило лавиной. Вереницы машин и автобусов выстроились по обе ее стороны. С трудом перебравшись через лавину, я добралась до продуктовой базы. Влезая на грузовик, я порвала юбку. Иголочки с ниткой с собой не было. Один из пассажиров дал мне галстук. С галстуком на бедре я и явилась к начальнику базы. "Да, дрожжи есть, целый ящик, но он в подвале, никто не пойдет доставать: в подвале полчища крыс". Крысы — обычный способ заполучить взятку якобы для оплаты тому, кто спустится в подвал. Денег не было, и я отправилась в подвал сама, не встретив ни одной крысы. Обратившись в Никитский сад добиралась пешком, приблизительно двадцать миль.

Варить корм мухам, мыть и стерилизовать пробирки взялась супружеская чета рабочих из Никитского сада. Но когда подошла пора сбора винограда, они, не предупредив меня заранее, отказались работать, если я не увеличу оплату. На помощь пришла молодая татарка — цитолог, лаборантка лаборатории, где я днем и ночью вела подсчет дрозophil. Она согласилась бесплатно делать для меня всю черную работу, если... если я повторю стихи, которые я вслух читала, когда

думала, что нахожусь в лаборатории одна. Я читала Мандельштама, Есенина, Блока, Ахматову, Пастернака, Маяковского, Клюева, Гумилева... кого только не читала.

Я пью за военные астры,
За все, чем корили меня,
За барскую шубу, за астму...

читала я по ночам. "Барская шуба", "астма" — это то, чем корили Мандельштама. Знаю теперь из воспоминаний его жены. Но при чем тут "военные астры" — золотые шнуры, свисавшие с эполет высших чинов царской армии, — ума не приложу. Между тем поэзия спасла меня.

Весной 1939 г. я защищала диссертацию на степень кандидата биологических наук. Название диссертации: "Сравнение генетических свойств природных популяций и лабораторных линий дрозофилы. Гипотеза генетических корреляций". Мой покровитель, заведующий кафедрой генетики и экспериментальной зоологии, прекрасный педагог и ученый Александр Петрович Владимирский скоропостижно скончался.

Его преемник из выдвиненцев — Михаил Ефимович Лобашев, никогда не простивший мне моей "знатности" (отца он почитал, а дочери, профессорской дочке, чинил преграды), стал фактическим вершителем судеб кафедры.

В 1935 г. Владимирский, выдвигая аспирантов, назвал пятерых: Новикова, Баранчеева, Ковалева, Рапопорта и меня. Лобашев оспаривал кандидатуры мою и Рапопорта, хотя последний превосходил способностями всех нас. Меня Владимирский отстоял. Рапопорта отстоять не удалось. (Но он и не добивался аспирантуры в Ленинграде. Он поступил в Институт экспериментальной биологии и под руководством его директора — одного из основателей генетики в Советском Союзе Николая Константиновича Кольцова начал свои знаменитые опыты по искусственному получению мутаций химическими препаратами.)

В 1939 г., когда Владимирского не стало, Лобашев дал понять, что моему пребыванию на кафедре пришел конец.

КАРЬЕРА ДУБИНИНА

Еще до того как я защитила диссертацию, я отправилась в Москву устраиваться в Институт эволюционной морфологии. Взяла переплетенный экземпляр своей диссертации, оттиски статей, напечатанных в журнале "Genetics" и в "Докладах Академии наук", надела свое лучшее платье и предстала перед директором института И.И.Шмальгаузенем. Платье досталось мне не без труда. В нянином сундуке среди прочих ценностей, нажитых еще при царе, хранился лет тридцать отрез батиста, белый с голубым узором. Я страстно хотела, чтобы няня подарила мне этот отрез. Она не соглашалась и сшила себе из него нижнюю юбку. Но потом вдруг передумала и подарила мне юбку, чтобы я перешла себе платье.

Шмальгаузен поинтересовался моей специальностью. Я сказала, что я генетик.

Генетика стремительно катилась к гибели. За несколько месяцев перед тем как происходил этот разговор, Лысенко был избран действительным членом Академии наук СССР. Путь ему открыла статья в "Правде", которая поносила двух других кандидатов в Академию — моего отца и Николая Константиновича Кольцова. Лысенко стал не только академиком, но и членом Президиума Академии наук. Кольцов был снят с поста директора созданного им института.

Медико-генетический институт, по свидетельству Меллера, — самое лучшее учреждение этого рода в мире, уже три года как закрылся. Его директор С.Г.Левит и его сотрудники И.И.Агол и В.Н.Слепков были арестованы и сгинули с лица земли.

Седьмой Международный генетический конгресс, который должен был состояться в 1937 г. в Москве, отменен. Он был созван в 1939 г. в Эдинбурге. Сорок генетиков, и я в их числе, послали тезисы своих докладов. Вавилов — этот великий путешественник, президент Географического общества, объездивший весь мир, чтобы создать свою непревзойденную коллекцию культурных растений, — не получил разрешения возглавить конгресс. А ведь именно Вавилов, будучи вице-президентом Шестого генетического конгресса в США, пред-



Иван Иванович Шмальгаузен. 1960 г.

ложил Москву как место для проведения следующего конгресса, президентом которого он был избран. С поста президента Академии сельскохозяйственных наук он был также смещен. Его сменил Лысенко.

— Вы хотите переменить специальность, учитывая катастрофическое положение в генетике? — спросил Шмальгаузен.

— Нет, я хочу продолжать мою работу по генетике популяций

— У вас есть печатные работы?

Я подала ему оттиски. Он взглянул и сказал:

— Я имею честь знать вашего отца. Хотя наследственность теперь не в чести, гены номогенеза будут учтены при вашем зачислении. Я могу предоставить вам место докторанта. Вам предстоит экзамен по марксизму. Держитесь.

Программа по марксизму-ленинизму содержала 84 названия рекомендованной литературы. Я зубрила все лето. Было еще два экзамена по двум иностранным языкам.

Языки я сдала на отлично. (На экзамене по немецкому меня спросили, не собираюсь ли я поступать в докторантуру по немецкой филологии.) Экзамен по марксизму я чуть было не провалила.

История культуры изобилует созвездиями талантов: Флоренция времен Лоренцо Великолепного, Париж середины девятнадцатого века, когда его художники повернули к зрителю мир его сверкающей гранью, "Могучая кучка" русских музыкантов, плеяда поэтов, включающая Пушкина, и другая плеяда поэтов — Цветаева, Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Маяковский, Есенин.

Вот таким же собранием талантов была лаборатория генетики Института экспериментальной биологии, который возглавлял Н.К. Кольцов: Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, Петр Фомич Рокицкий, Дмитрий Дмитриевич Ромашов, Борис Львович Астауров и еще семеро других — все, кого не раздавила советская власть на заре их научной деятельности. Рано или поздно почти все они подверглись репрессиям за одним исключением. Исключение — Сергей Михайлович Гершензон. Он мог бы рассказать многое, но не рас-

скажет. В аду Данте он среди тех, чьи рты защиты.

Лабораторию генетики Кольцовского института основал С.С.Четвериков, который вместе со своей научной группой создал новую отрасль — экспериментальную генетику популяций.

Дрозофил, вступающих в естественных условиях в браки, не разбирая степени родства, Четвериков принудил к бракам родственным. Учет разнообразия потомства этих браков он вел по всем признакам: окраска тельца мух, форма глаз, число и размер щетинок. В своей теоретической статье Четвериков писал, что вид, размножающийся с помощью неродственных браков, способен накапливать скрытые наследственные дефекты, впитывать их, по его словам, как губка. Наблюдения дали блестящее подтверждение его прогноза.

Много важных открытий было сделано за четыре года, которые просуществовала лаборатория Четверикова.

Никто не знает, кто сфабриковал на него донос и какую ложь он содержал. В 1929 г. Четвериков был арестован и без суда и следствия отправлен в ссылку. Шесть лет он скитался, лишенный возможности заниматься наукой. В 1935 г. Четвериков был приглашен в Горький заведовать кафедрой генетики университета. Но к популяционной генетике он так никогда и не вернулся.

Арест Четверикова был ударом по Институту экспериментальной биологии, и прежде всего по его директору Кольцову. Для него 1929 г. стал началом конца. Прирожденному дипломату и умнице, каким был Кольцов, на этот раз изменил его дар. Вместо изгнанного Четверикова он пригласил Н.П.Дубинина — выдвиженца среди выдвиженцев, только что вышедшего из комсомольского возраста, но уже получившего известность на арене борьбы с вражеской идеологией. Вместе с кнутом Презента в те годы свистела и плеть Дубинина. Он бичевал "идеалистические пороки" лучших тогдашних биологов — Филипченко, Серебровского, Левита — всех, кому завидовал и чье место стремился занять.

Его социальное происхождение тонет во мраке неизвест-

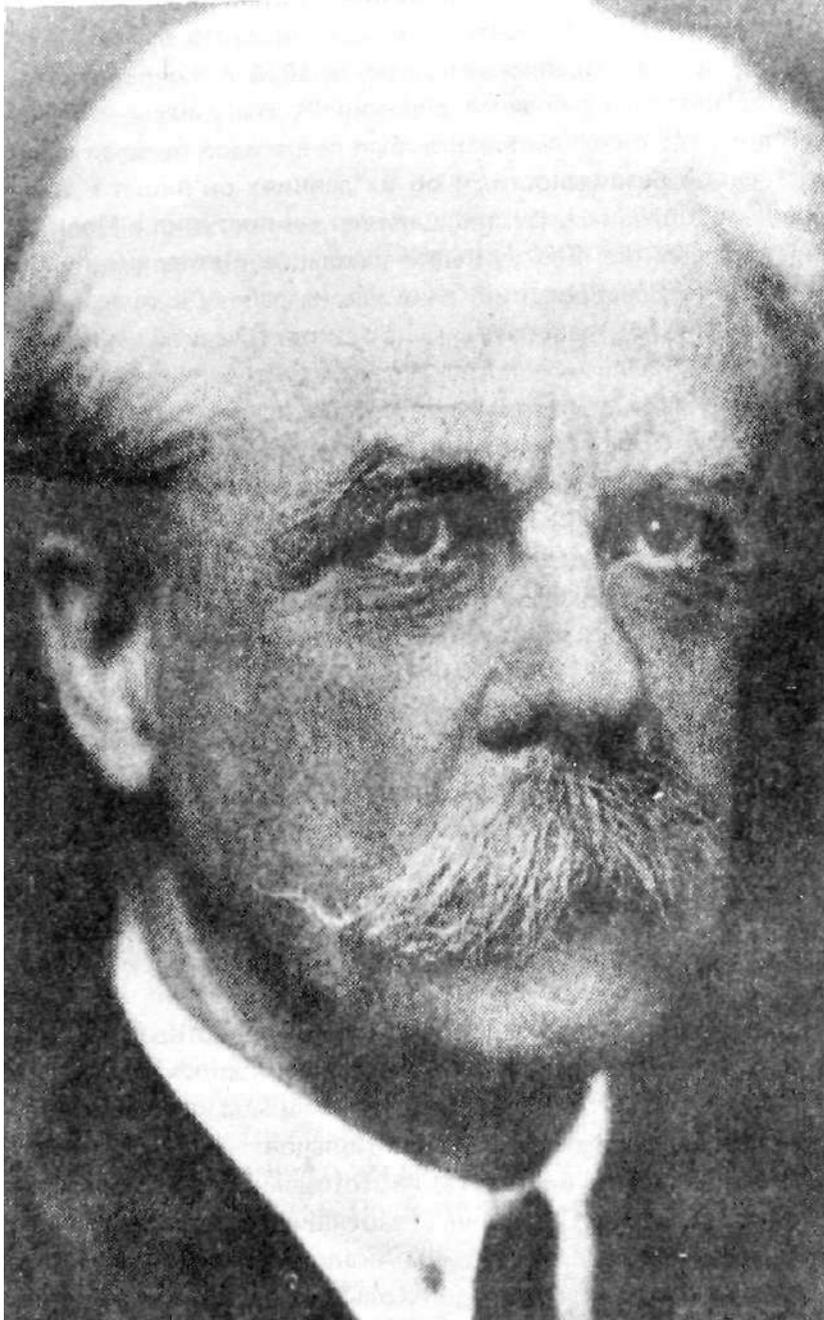
ности. Окончил он школу, будучи воспитанником детского дома, где работала его мать. Кем — не знаю. Из его автобиографии (первое издание выпущено в 1973 г. Госпитиздатом под названием "Вечное движение") мы узнаем, что детский дом, где он воспитывался, был под эгидой органов государственной безопасности, и об их деяниях он пишет с неизменным одобрением. Шестнадцати лет он поступил в Московский университет. Его учителя — Кольцов, Четвериков и Серебровский. Серебровский, взяв его на работу в свою вновь организованную лабораторию в Биологический институт имени Тимирязева, быстро его раскусил и выгнал. Через несколько месяцев лаборатория Серебровского была закрыта. Двадцати пяти лет Дубинин получил профессорское звание и возглавил кафедру генетики Института свиноводства.

Кольцов в 1932 г. основал "Биологический журнал" и стал его главным редактором. Страницы его он предоставил Дубинину для борьбы с идеалистическими извращениями в генетике. Борьба, которая велась с Филипченко и с Серебровским была открытой. Для Кольцова и Четверикова у Дубинина было другое оружие.

В 1932 г. Дубинин возглавил генетический отдел Института экспериментальной биологии. Выдвиженец должен был служить его директору щитом, и он служил, пока не настало время перековать щит на меч. И острие этого меча теперь было направлено против Кольцова.

В автобиографии Дубинин рассказывает, что в 1939 г. нападки на Кольцова усилились до такой степени, что стало необходимым спасти Институт. Чтобы предотвратить катастрофу, следовало изгнать его основателя и директора. Институт был основан в 1917 г., еще до Февральской революции. Двадцать два года его возглавлял Кольцов.

И вот собрание института, на котором прорабатывали директора. Его вел Дубинин. Резолюция собрания гласила: снять с заведования. Президиум Академии наук, членом которого был Лысенко, освободил Кольцова от занимаемой должности. Вскоре Кольцов скончался от сердечного приступа в Ленинграде, в номере гостиницы. Жена его покончила с собой.



Николай Константинович Кольцов. 1963 г.

Трое сотрудников бывшего кольцовского института Б.Л.Астауров, В.В.Сахаров и И.А.Рапопорт, трое бесстрашных для того времени людей приехали в Ленинград, чтобы проводить Кольцова в последний путь.

Из откровенных признаний Дубинина которых он вовсе не стыдится, мы узнаем, что на следующий день после разгромного собрания, изгнавшего Кольцова, партийная организация института выдвинула Дубинина на пост директора. Но Президиум Академии отказывается его утвердить, Дубинин пишет, что виною тому происки его врагов — лысенковцев. Он прав: в те дни главный враг Лысенко — не Вавилов, не Серебровский, не Филипченко или Кольцов, а именно этот маленький, молодой, рано польсевший выдвигенец. Его личные качества отлично гармонировали с его социальной миссией, как он ее понимал сам и как понимали ее стоявшие за его спиной силы.

Так или иначе, воспользоваться изгнанием Кольцова Дубинину не пришлось. Лидером стремился стать не он один. На ту же роль, но еще более энергично претендует Лысенко. Социальная миссия их одна и та же. Они — рычаги революции, нет, — ножи ее гильотины, отсекавшие головы лучшим представителям научной интеллигенции.

Директором кольцовского института стал лысенковец. Стремительный бег времени, смена правителей разбросали сперва Дубинина и Лысенко по разные стороны баррикады, а затем соединили в трогательном альянсе. Дубинин на девять лет моложе Лысенко, но он оказался представителем интеллигенции первой послереволюционной формации, той интеллигенции, которая создавалась ударными темпами и вербовалась по классовому принципу. Лысенко принадлежал уже к новой формации. Их схватка в борьбе за лидерство полна глубокого смысла. Дубинин воплощал ленинский идеал, Лысенко — исчадие сталинского ада. Интеллигент нового типа — Дубинин. Интеллигент новейшего типа — Лысенко. Нет, он вообще не интеллигент, как не была лошадь Калигулы членом Сената, в котором она заседала. В схватке Дубинина и

Лысенко конечная победа досталась Дубинину. Борьба длилась тридцать лет.

В 1932 г. Дубинин создал новую группу генетиков-популяционистов, и мои научные интересы столкнулись с интересами Дубинина. Прделанные мной опыты показали, что популяций, лишенных наследственного скрытого разнообразия, в природе нет и быть не может. В 1938 г. мы с Галковской, Александрийской и Бриссенден послали статью в "Биологический журнал". В том же году на семинаре Института экспериментальной биологии я делала доклад.

Программа на будущее включала изучение популяции дрозофил Дилижана. Меня слушали очень внимательно. После доклада Дубинин отозвал меня в сторону и сказал:

— Не советую вам ехать в Дилижан. Автобусное движение между Дилижаном и Ереваном прекращено. Вы не доберетесь. И мух не найдете. Там мух очень мало.

— Не доберусь? — спросила я. — Не беспокойтесь. Доберусь. Если бы мне поставили условие, что добраться не то что из Еревана, а из Ленинграда до Дилижана я могу только ползком, катя носом горошину, я сказала бы: "Дайте скорее горошину".

Дубинин ничего не ответил.

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

В сентябре 1939 г. я ехала в поезде к мухам Дилижана. В вагоне-ресторане за одним со мной столом оказался заграничного вида молодой человек. Он обратился ко всем соседям по столу на трех языках и попросил сделать для него заказ. Я предложила свои услуги. Это был датчанин Эббе Хагеман. Говорили мы по-немецки. Его соседом в купе оказался немец. Оба они ехали в Тегеран через Баку.

— Что, собственно, имеют немцы против евреев? — спрашивал датчанин.

— Говорят, что война четырнадцатого года на их совести, — отвечал представитель гитлеровской Германии.

Датчанин вскидывал руки вверх и, как будто отталкивая

кого-то, кто наступал на него, восклицал:

— Пропаганда!

Мы обменялись потом с датчанином письмами. В Москве его письма исчезли из моего портфеля. Вспоминая все это, я и сейчас боюсь за себя, за ту, от которой я отделена сорокалетней давностью. А тогда я не боялась, хотя следовало бы.

Дилижан расположен на высоте 1500 м над уровнем моря среди невысоких, поросших дубом и грабом гор. Сады Дилижана снабжают прекрасными яблоками всю Армению. Из яблок здесь делают вино и гонят крепкий напиток — чачу. Мух, необходимых мне для работы, множество, но добраться до них нелегко. Домашние крошечные винодельни есть у всех, но гнать вино запрещено законом, и постороннего человека к чанам не допускают. В мой первый приезд в Дилижан мне помог Миша — агроном, приставленный ко мне для поисков дрозофил. Он повел меня на винодельню совхоза. Там, под навесом, стояли бочки с яблочной мязгой. Кишмя кишели мухи. По пути в совхоз Миша занимал меня приятной беседой в армянском духе. Он рассказывал, как любят армяне русских. Агрономическая станция, где он работает, проводит опыты по указанию и в соответствии с идеями Лысенко.

— И контроль у вас есть? — спросила я.

— Конечно, есть, — сказал Миша, — два участка засеваем. Где хорошо вырастет — опыт, где плохо — контроль.

— Вот оно как! — подумала я.

Популяция Дилижана оправдала мои ожидания. Желтые мухи попадались и здесь, но реже, чем в Крыму и на Украине. Возникали мутации и в их числе желтая с меньшей частотой. Насыщенность популяции вредоносными мутантными генами оказалась отнюдь не ниже насыщенности популяций Умани и Никитского сада.

Из Еревана я уезжала теплым октябрьским днем. Я приехала на вокзал рано и ждала поезда, сидя в сквере перед вокзалом. Я рисовала карандашом тоненький узор на маленьком листе бумаги. Две девочки подошли и смотрели, как я рисую.

— Тебе нравится? — спросила я ту, что постарше, лет восьми.

Она кивнула.

— А что тебе нравится больше всего?

Она показала на то место рисунка, где узор тоньше всего. Потом она вынула из кармана горсть семечек, протянула их мне и сказала:

— На.

Подошел пожилой армянин.

— Зачем тут сидишь? Пойдем ко мне.

Я отлично знала, как отражать такого рода атаки.

— Скажите, — спрашиваю я, — разве у армян принято, чтобы женщина на улице принимала приглашение незнакомого мужчины?

— Зачем обижаешься? — говорит он галантно.

Он говорит мне "ты", потому что в армянском языке, видимо, нет этих "ты" и "вы" русского языка, а русского обычая обращаться на "вы" он не знает.

— Разве что плохое предлагаю? Разве кусок мяса из тебя хочу вырвать? Завтраком хотел угостить: помидор, сыр. Подумаешь, какая линия Мажино.

Уже шла война между Францией и Германией, но линия Мажино еще не была прорвана, хотя в воздухе уже пахло грозой.

В Москве я изучала потомство дилижанских и ереванских мух. Надлежало снова заниматься марксизмом-ленинизмом. Вот заходит в лабораторию молодая женщина-парторг:

— Какое из произведений классиков марксизма изучаете? Сколько страниц проработали?

— Присаживайтесь, — говорю я ей, — я вам продиктую названия книг и статей.

— Некогда присаживаться, говорите скорей.

— Но это займет около двух часов, — говорю я, — я собираюсь продиктовать вам не менее восьмидесяти названий.

Она махнула рукой и ушла. Но с официальными занятиями по философии, обязательными для докторантов, ничего не вышло. Группа состояла из меня, Кушнера и Бабаджаняна. Я — докторант Шмальгаузена, Кушнер — Вавилова, Бабаджанян — Келлера. Более разношерстной компании представить невозможно. Кушнер — генетик, умелый полемист, будущий

предатель-лысенковец, Бабаджанян — лысенковец, жеребенок, рожденный лошастью Калигулы. Преподает профессор-философ Арност Кольман, тот самый Кольман, который в декабре 1939 г. получил из ЦК предписание организовать в редакции журнала "Под знаменем марксизма" очередную дискуссию по вопросам генетики. Под знаменем марксизма сражаются все: агрономы и гинекологи, инженеры и музыковеды...

На первом же занятии произошло столкновение между мной и Бабаджаняном. Наши точки зрения непримиримы, и никакая диалектика не могла их примирить. Кушнер молчал. Больше Кольман нас не созывал. Наверно, был слишком занят, изучал генетику, которую ему было велено громить.

Директива организовать дискуссию шла из высших сфер. "Широкие массы трудящихся", разумеется, ничего об этих закулисных махинациях не знали. Да и я бы не узнала никогда, что происходило в Отделе науки ЦК накануне дискуссии, финал которой должен был положить конец существованию "служанки капитализма" — формальной генетики, — если бы не статья в декабрьском номере журнала "Nature" за 1977 г., написанная английской журналисткой Верой Рич. Вера Рич сообщила, что Арност Кольман, бывший редактор журнала "Под знаменем марксизма", а ныне эмигрант выступил — и не на ученом совете какого-нибудь института советологии США, — а на Биенале в Венеции.

Биенале 1977 г. был посвящен диссидентскому движению стран Восточной Европы. И вот в своей покаянной речи, в mea culpa, Кольман разболтал тайну. Ему было приказано организовать дискуссию и выдать ее за инициативу журнала "Под знаменем марксизма". Официальную поддержку запрета лженауки — генетики — ему гарантировали.

Должно было произойти то, что случилось девять лет спустя, в 1948 г., когда пришел конец исследованиям в области генетики, а все, кто не встал под знамена Лысенко, лишились работы. Должно было, но не произошло. Дискуссия состоялась. Снова выступали Вавилов и Серебровский, защищая генетику, и Лысенко и Презент, громя ее. Пресса была всецело на стороне последних, но запрета не последовало.

Можно только гадать, почему этого не произошло. Мировое общественное мнение приковано к Советскому Союзу, и внимание это отнюдь не в пользу страны победившего социализма. Вот несколько событий. Август 1939 года: пакт о дружбе между СССР и Германией. Сентябрь: вторжение Германии и России в Польшу. Октябрь: оккупация Латвии, Эстонии и Литвы, которые были включены в состав Советского Союза несколькими месяцами позже. В октябре 1939 г., по сговору с Гитлером, началось переселение в Германию немцев, обитавших на территории этих государств. 30 ноября 1939 г. Советский Союз вторгся в Финляндию. В те дни, когда в Институте философии Академии наук на Волхонке происходила дискуссия по вопросам генетики, Советский Союз был исключен из Лиги Наций. Возможно, не стоило подливать масла в огонь.

Вавилов еще был на свободе. Его мировая известность задержала неизбежный ход событий. Всесильные знали, что Меллер в Эдинбурге следит с пристальным вниманием за тем, что происходит в Советском Союзе.

В 1949 г. я исследовала популяции дрозофил, обитающие на северной границе ареала распространения вида. Два небольших города неподалеку от Москвы — Кашира и Серпухов — окружены садами. На заводах безалкогольных напитков и на фруктовых базах этих двух городов я ловила дрозофил. Лаборатория находится неподалеку от Каширы на Кропотовской Биологической станции. Станция размещается в небольшом помещичьем доме, брошенном его хозяином на произвол судьбы. Организована она Кольцовым и принадлежала его институту. Сотрудники института в теплое время года проводили там свои опыты. Когда Кольцова сместили, а институт переименовали в Институт цитологии, эмбриологии и гистологии, станция сохранилась за этим институтом. Помещик когда-то построил свой дом на окраине деревни Кропотово, на берегу Оки. Если вы спросите меня, где находится рай, я без малейших колебаний отвечу: здесь, на Оке. Леса на крутом берегу реки, поля и луга, песчаные берега и отмели, чистые

ручьи, бегущие по незаболоченным местам, нежаркое лето, сухая зима — таков этот приокский рай. Здесь Левитан писал свою "Золотую осень", Клюев, стихам которого нас обучал господин Стрижешковский в немецкой школе, назвал эти места "берестяным раем".

Много мне довелось ездить по гигантской империи и соприкасаться с жителями разных городов и разных наций. Я приходила на завод или на овощную и фруктовую базу со своим ловчим аппаратом и просила разрешения ловить дрозофил. Командировочное удостоверение с печатью Академии наук я обычно предъявляла в конторе учреждения. Перед рабочими представляла особа с насосом для ловли мух. Одну за другой увлекала мух в контейнер ловчего аппарата струя воздуха. Зрелище, согласитесь, странное. Рождало оно противоречивые чувства — одни и те же везде: смесь насмешливой снисходительности и уважения к науке. Директор овощебазы в Кашире говорил мне: "У каждого овоща и у каждого фрукта своя муха. Ваши красноглазые, маленькие — на яблоках; на помидорах — мухи с маленькими головками и коричневыми глазами, тоже маленькие; на соленых огурцах этих не будет — там большие темные". Все верно. Девушки разглядывали пробирки с пойманными мухами.

— А эта что же так раскормилась? — спрашивала одна.

— Много ты понимаешь, — говорила вторая. — Эта большая — другой породы. Ты что думаешь, если мышь до отвала кормить, она до крысы дорастет?

На станции работали сотрудники бывшего кольцовского института. Сахаров создавал здесь свой сорт гречихи. Астауров проводил свои опыты на тутовом шелкопряде. И жил в "берестяном рае" на берегу Оки русский мужик с рыжей бородой Дмитрий Петрович Филатов.

Рыжий красного спросил:

Чем ты бороду красил?

Я не краской,

Не замазкой.

Я на солнышке лежал,

Кверху бороду держал.

ФИЛАТОВ

Так, смеясь над своей внешностью, писал мне Филатов, когда война разлучила нас. Жил Филатов в том самом доме, где помещалась станция. Мы с моим другом проходили мимо. Он сидел в комнате перед распахнутым настежь окном и шил.

— Вот это Дмитрий Петрович Филатов, — сказал мой друг, — подойди, протяни ему руку, он рад будет с тобой познакомиться. Только встать он не сможет. Он штаны свои чинит. Они у него единственные.

Я потом рассказала Дмитрию Петровичу об обстоятельствах нашего знакомства. "Как это он догадался?" — сказал Филатов. Догадаться немудрено. Как сейчас слышу звук шагов его босых ног по веранде, где сотрудники станции обедали и ужинали все вместе. Он не был толстовцем, как мой отец. Он не следовал никому и ничему.

— В деревню ходил, уговорил одну женщину молоко мне носить.

— Где работаешь? — спрашивает.

— На станции, — говорю.

— Сторожишь, что ли?

— Нет, я ученый, профессор, — говорю. — Ну как тут не подразнить?

— Зачем же вы сказали, что профессор? — спрашиваю.

— Я для нее. А то еще подумала бы, что я за молоко не заплачу.

А еще такой разговор был.

— Хотите пир устрою нам с вами? — спрашиваю. — Цыпленка зажарю.

— Нет, — говорит, — не хочу, чтобы вы среди цыплят стояли, на цыпленка показывали и говорили бы: "Вот этого зарежьте".

— А мне в деревне любая хозяйка не то что оципанного, а и выпотрошенного продаст.

— Все равно не хочу, — говорит, — цыпленка жаль.

— Да вы ведь охотник,

— А может, больше и охотиться не буду.

— Ладно, — решаю я, — грибов наберу и зажарю.

— Только белые отдельно жарьте.

Сказано — сделано. Сковорода одна, белые в одной створке, прочие — в другой.

— Ишь как белые-то по всей сковороде раскидала!

— Дмитрий Петрович, — спрашиваю, — понравилось?

— Вкусно, но масла слишком много.

Для совместных обедов и ужинов у нас общественный фонд продуктов.

— А масло не общественное, а мое, сколько хочу, столько и кладу.

— А я к своему отношусь так же, как к чужому, свое тоже общественное — экономить надо.

— А к чужой жене вы тоже относитесь, как к своей?

— Да, — сказал он, — мне так же больно, когда чужая жена изменяет мужу, как если бы моя изменила мне.

Дмитрий Петрович Филатов основал новую отрасль науки — экспериментальную эмбриологию. Перемещая зачатки органов развивающегося зародыша относительно друг друга, он одновременно с немецким эмбриологом Х.Шпеманом и совершенно независимо от него и от кого бы то ни было открыл принцип управления развитием одних частей зародыша со стороны других. В некотором смысле он превзошел всех своих современников. Отрасль эмбриологии, в которой он первооткрыватель, — это не просто эксперимент, пришедший на смену наблюдению. Мало открыть законы взаимодействия элементов развивающегося организма. Следовало понять, как меняются сами эти законы в процессе развития органического мира. Новый экспериментальный метод следовало сочетать со старым сравнительным методом познания.

Экспериментировал Филатов с тритонами, лягушками, жабами, изучал развитие органов чувств у их эмбрионов. Он пересаживал слуховой пузырек тритона под кожу хвоста и следил, как образуется на новом месте из тканей, предназначенных совсем для другого, слуховая капсула. Он рассказывал мне, что слуховой пузырек обволакивается клетками.

"Как нос собаки паутиной, когда осенью собака идет по следу зверя", — говорил он.

Дмитрий Петрович заведовал лабораторией экспериментальной эмбриологии в кольцовском институте, состоял в штате Московского университета. Там под его руководством работала большая группа его учеников и почитателей. Его аскетизм — отнюдь не был отказом от радостей бытия. Не был возвратом к природе или хождением в народ. Ему не надо было возвращаться к природе и идти в народ, он никогда не покидал их. Слитность с природой питала его радость бытия. Птичьи голоса на заре в пронизанном солнцем и полном аромата лесу занимали в его иерархии ценностей более высокое место, чем наслаждения, даруемые цивилизацией. Он неделями жил один в лесу. Его обожатель — Андрей Макарович Эмме, красавец-сибарит, говорил ему в моем присутствии: "А как же без бани?" Дмитрий Петрович отвечал: "Организм человека с легкостью отвыкает от ежедневного мытья и сам собою остается чистым".

Его отказ от комфорта — своего рода демонстрация. Демонстрация свободы, неподкупности, служения высшим идеалам. Он и ему подобные не променяют презрение к судьбе, свободу духа, право иметь собственное мнение на дачу и персональную машину с шофером. И деньги, которые у него были, — гарантия свободы: если пребывание в штате учреждения станет несовместимым с велениями совести, он просуществоует на накопленные гроши. Он предвидел, что черный день наступит и страховал себя.

Филатов говорил мне: "Не ищите признания вашей работы вашими товарищами по лаборатории. За признанием обращайтесь к миру. Печатайте". Я понимала его следующим образом: в мире есть мало людей, истинно заинтересованных в узкой области, где вы работаете. Вряд ли они найдутся и среди ваших товарищей. А отсутствие интереса расхолодит вас. Много позже, пренебрегая его заветом, я убедилась, что ошибалась в своей трактовке. Филатов хотел предостеречь меня не от отсутствия признания, а именно от признания, которое часто хорошо не заканчивается.

Занятный случай выявил его способность подчиняться и подчинять. После ужина мы все сидели на веранде. Один из нас рассказал что-то смешное. Андрей Макарович Эмме, смеясь вместе со всеми, как-то невероятно смешно не то взвизгнул, не то хрюкнул. Все засмеялись сильнее. Эмме взвизгнул еще и еще, и все смеялись все громче и безудержней.

— А ну, посмеемся! — говорил Эмме и смеялся, и по его красивому носу текли слезы.

Хохотали все, кроме меня. Филатов, Астауров смеялись, как дети.

— Хватит, — говорила я тихим и твердым голосом. — Прекратите этот психоз.

Смех усиливался. Внезапно Филатов перестал смеяться и стукнул могучим мужицким кулаком по столу:

— Прекратить!

И все как один смолкли.

Побуждая других печатать результаты своих экспериментов, он сам печатал мало. Говорил, что ему трудно выражать мысли. Были у него и литературные произведения. К великому моему сожалению, я не читала их. Но мой друг Александр Александрович Малиновский наизусть рассказал мне сказку, сочиненную Филатовым. Четыре медвежонка шли по лесу и набрали на потухший костер. В его золе они нашли картофелину.

— Что бы это могло быть? — сказал один.

— Бесполезно рассуждать, — сказал другой. — Все равно никогда не пойдем.

— Хорошо бы заглянуть, что там внутри, — сказал третий.

— Надо спросить старших, — сказал четвертый.

Тут подошла рысь. Медвежата спросили про картофелину. Рысь загородила ее собой, раскусила и сожрала. Она повернулась к медвежатам и сказала:

— В золе костра не было ничего. — И ушла.

Тогда каждый из медвежат Филатова сказал по одной фразе, и они в точности соответствовали философскому складу ума каждого. Агностик, помню, заявил:

— Если мы и тогда, когда оно было, не имели средств познать его, то теперь, когда его нет, и подавно не познаем.

А тот, кто предложил обратиться к рыси, заметил, что вероятнее всего в костре и вправду не было ничего. И четыре медвежонка пошли дальше.

Во время войны Институт эмбриологии, гистологии и цитологии был эвакуирован в Алма-Ату. Филатов не пожелал эвакуироваться. Его дом пострадал во время бомбежки, и Филатова переселили в комнату института. Мне рассказывали, что жил он в страшном холоде, не топил, казенные дрова на себя не хотел расходовать. Какая бы то ни было возможность экспериментировать исчезла. Филатов писал свой последний труд — трактат о морали будущего. Он писал, что прочтет его мне, когда мы встретимся. Я вернулась в Москву в ноябре 1942 г. Но Филатов так мне ничего и не прочел. Мы пили чай, он колот сахар старинными щипцами на маленькие кусочки, чтобы пить вприкуску. Мы говорили о войне, и Дмитрий Петрович предсказывал близкую победу. Он считал, что немцы потерпят поражение под Сталинградом, и эта битва станет поворотным пунктом в войне. Как известно, он оказался прав.

— Вот кончится война, — и мы будем вспоминать, как мы чай вприкуску пили.

— Это неизвестно, будем ли мы вспоминать, — сказал он многозначительно с ударением на "мы".

И тут он оказался прав. Через несколько дней, не дожив до победы на сталинградском фронте, он умер. Инсульт поразил его на улице. Милицейская машина увезла его в больницу, и там, не приходя в сознание, он скончался. Ему было шестьдесят шесть лет.

Рукопись Филатова не пропала. Тридцать два года она пролежала в архиве под семью печатями. Мораль будущего в представлении Филатова нисколько не противоречит коммунистической морали. Моральные кодексы всех религий, как и веру в личное бессмертие, Филатов отвергает. И тем не менее, понадобилась энергия такого смельчака, как Астауров, чтобы рукопись Филатова увидела свет. Филатов не ссылается на

классиков марксизма-ленинизма, развивает не их основополагающие идеи, а свои собственные. Он осмеливается искать корни человеческого альтруизма не в классовой борьбе, а в предыстории человечества.

Опубликованием рукописи Филатов обязан не одному Астаурову. Вопрос о биологических корнях альтруизма поднят и другим храбрецом, способным с голыми руками бросаться в бой и сражаться с закованными в латы марксизма противниками. Этот храбрец — Эфроимсон, выпущенный из сталинского лагеря смерти — Дзезказкана. Он написал статью о том, что без взаимопомощи, самопожертвования, без подавления инстинкта самосохранения не было бы человека. Его статья напечатана в "Новом мире". Редактор журнала Твардовский и автор Эфроимсон выпустили джина из бутылки.

Астауров отредактировал рукопись, придал ей законченный вид, и она была напечатана в альманахе "Пути в незнание" в 1974 г. Называется она "Норма поведения или мораль будущего с естественноисторической точки зрения". В будущем морали в нашем представлении не будет, — утверждает Филатов. Кодекс предписаний исчезнет, сольется с нормами поведения, отождествится с ними. Добро будет господствовать, эгоистическое начало будет подавлено, как и инстинкт самосохранения. Любовь к людям станет частью любви ко всему живому. Отпадет за ненадобностью мысль о личном бессмертии. Человек будущего будет черпать высшее удовлетворение в заботе о счастье других. И сейчас есть люди этого высшего типа, но в будущем их станет большинство. "Из всех житейских передраг они выходят моральными победителями, то есть удерживают свои привычные и единственно возможные для них отношения к окружающему и к окружающим".

В предисловии к работе Филатова Астауров пишет: "...Филатов — типичный представитель русской прогрессивной, демократически настроенной интеллигенции. Происходя из семьи очень крупного помещика, он пошел на конфликт со своим классом, раздав (точнее, формально продав за бесценок — по 5 копеек за десятину!) свою землю крестьянам.

Это было причиной тяжелого семейного конфликта, разрыва с женой и впоследствии своего рода отшельничества и ухода в науку и философию".

...Впрочем, пора вернуться к 1940-му году, когда мы так счастливо дружили с Дмитрием Петровичем, и он рассказывал мне о своих исследованиях и мы читали стихи. Дмитрий Петрович любил Тютчева.

...Час тоски невыразимой.

Все во мне, и я во всем.

По сравнению с тем, что ждало нас в будущем, "час тоски невыразимой" — лучезарное счастье. Работа шла отлично. Старые гипотезы подтверждались, создавались новые.

Благополучию, однако, приходил конец. Мое душевное равновесие было нарушено. Я чувствовала приближение катастрофы. Декабрь 1940 г. я провела в Ленинграде. Одна трагическая новость следовала за другой. Вавилов арестован. Кольцов скоропостижно скончался в Ленинграде, жена его покончила с собой. Арестованы профессора университета Карпеченко и Левитский. Самая талантливая из моих сотрудниц и соавторов Эдна Бриссенден ушла из университета в знак протеста. Я пригласила ее погостить у меня в Москве, но больше с ней никогда не встретилась. Ей и ее матери грозил арест. Об этом речь впереди. Между тем директором Института генетики стал академик Трофим Денисович Лысенко, и это ознаменовало наступление самых черных дней в биологической науке.

На осень 1941 г. было намечено продолжить изучение популяций Каширы и Серпухова. Я жила в Кропотове. 22 июня 1941 г. началась война. Много раз я подавала заявление в военкомат, просила мобилизовать меня. У меня есть начальное медицинское образование. Не брали. А раз не брали, необходимо было продолжать свое дело.

В институте мне отказали в командировке на Каширский завод безалкогольных напитков — говорили, что я вызову подозрения и меня схватят как шпионку. Я уехала, не имея командировки. Не успела подойти к проходной, как мне уже открывали дверь: "Опять приехали мух лавить?" Многие го-

ворили в тех местах "лавить" с ударением на "а". Звучало это очень по-русски — лава, облава — того же корня. Меня не заподозрили в шпионаже в пользу Германии, но и работать с пойманными мухами не пришлось. Мешали бомбежки. С первого дня войны немцы бомбили Москву каждую ночь. С немецкой пунктуальностью воздушные атаки начинались в 11 часов вечера и длились до 5-ти часов утра.

Незадолго до начала войны в аспирантском общежитии, где я жила, поселился Николай Васильевич Турбин, тогда докторант ботаника Келлера, к генетике непримечательный, позже ярый лысенковец, ныне — чиновный представитель советской интеллигенции и покровитель генетики. Во время бомбежек я в бомбоубежище не ходила. Опасность оказывала на меня удивительное действие. Вой сирены — сигнал воздушной тревоги — вызывал во мне не страх, а непреодолимое желание есть и спать. Я бросалась на кухню согреть чай, пока не отключили газ, потом надевала ночную рубашку и ложилась спать. Рассказывали, что когда открывались двери бомбоубежища, первым входил Турбин, а затем уже женщины вносили грудных детей.

Люди, ночь за ночью лишенные сна, приходили на службу полумертвые. А я была как огурчик. На меня дивились. Я объясняла, что это особенность моего характера.

Свойство это семейное. Воинская часть, в которой служил Сим — мой брат — находилась в те дни в Москве. Сим в бомбоубежище не ходил. "Очень я люблю, когда в меня, сонного, попадает фугасная бомба", — говорил он бодрым голосом, как будто расхваливал любимое блюдо.

Фугасная бомба попала в мой дом на Малой Бронной летом сорок третьего года, когда бомбежки стали редкостью. Утро. Я лежала в постели. Дом содрогнулся. Комната наполнилась белым облаком. Потолок и стены стряхнули побелку. К счастью, бомба не взорвалась.

Я лишилась возможности работать, когда началась эвакуация. 16 октября 1941 г. я была свидетелем паники, вызванной очередной победой немцев под Москвой. До сих пор не могу понять, как могло быть передано по радио это страшное

и лаконичное сообщение: "Положение ухудшилось. Фронт прорван". Это ложь. Три линии обороны окружали Москву. Прорвана, как потом стало известно, была только первая из них, и бои шли с неослабной силой. Но в Москве началась паника. Повсюду — на своих и казенных машинах — бежало начальство. Тротуары перед магазинами были засыпаны мукой и сахарным песком. Я видела, как два пианино стенка к стенке "стонали" на мчащемся грузовике. Рассказывали, что директор одной из больниц требовал у конюха отдать ему лошадь и телегу, на которых возили хлеб для больных. Конюх набил директору морду и не дал. На рынке — сама слышала уже через несколько дней, как торговец молоком бодро кричал: "Кому молоко на деньги! Молоко на деньги!" Царил натуральный обмен, и этот единственный на всем рынке принимал деньги. Ночью светились окна, а милиция, которая безжалостно штрафовала нарушителей, бездействовала.

Стало известно — правительство бежало, говорили, в Куйбышев. Академия была охвачена паникой. Директоров институтов эвакуировали еще раньше в глубокий тыл. Всем заправляли замы. В нашем институте — Хачатур Садракович Коштоянц, один из тех, чья подпись стояла под пасквилем против Кольцова и моего отца. Когда я появилась два года назад, он разлетелся было ухаживать за мной. Я ему напомнила этот маленький штришок в его биографии. (Он сказал, что не писал, а только подписывал.)

Теперь Коштоянц велел мне уничтожить оборудование, микроскопы, термостат. Я отказалась.

Нам, сотрудникам Института эволюционной морфологии, 16 октября 1941 г. было предложено собрать в заплечные мешки самое необходимое, построиться в колонну и идти по Калужскому шоссе прочь из Москвы. Я сложила было экспедиционные журналы, убедилась, что не протащу их и километра и решила не идти.

Через несколько дней нам объявили, что институт будет эвакуирован в Пржевальск, в Киргизию. От Шмальгаузена я получила распоряжение ехать в Казахстан в пансионат для академиков, где живет он сам и куда из Ленинграда эвакуиро-

ван мой отец. Просто как докторант Шмальгаузена я, естественно, не имела права жить в пансионате для академиков. До Свердловска я ехала в поезде вместе с сотрудниками института. У нас спальные места. Мне досталось нижнее боковое место, очень узкое. Я совершенно расхворалась. В ногах у меня сидел старик — подсел где-то на пути и без билета ехал в Свердловск, где его сын лежал в военном госпитале. Он то и дело засыпал и припадал к моим коленям. Меркурий Сергеевич Гиляров, в то время докторант Шмальгаузена, а ныне академик, цитировал по этому поводу Пушкина:

В тоске безумных сожалений
К ее ногам припал Евгений.

В Свердловске — пересадка. Здесь расквартирована часть, и в ее составе Сим. Разыскать его я могла только через военную комендатуру вокзала. Я отправилась на ее поиски

Уезжая из Москвы, я взяла с собой пробирки с мухами. Моя драгоценная высокомутабильная "Кашира-6" среди них. И корм для мух: изюм и агар для изготовления мармелада тоже взяла. Тут, впрочем, не обошлось без приключений. Моя просьба выдать мне со склада изюм и агар (которые, кроме меня, никому для опытов не нужны) была отклонена, тогда я сговорилась с пожарной охраной института, ночью мы проникли на склад, взломали ящик, отрубили хороший кусок пресованного изюма, этак кило на восемь и собирались ящик заколотить, как нас застукали. Не начальник, а одна из кладовщиц, которая в ту ночь дежурила. Кража со взломом. Протокол. Милицию еще не вызвали. Возникла идея уточнить меру моего преступления. Достали амбарную книгу. В ней значилось, сколько изюма хранилось на складе до моего грабежа. Если бы взвесили кусок чуть было не похищенный мною, — не знаю, что бы было. На мое счастье решили взвесить, сколько осталось. И что же? Оказалось, что осталось ровно столько, сколько значилось в амбарной книге. Изюм, похищенный мною, украден работниками склада до того, как я попала сюда. Не они застукали меня, я — их. Дело происходило при свидетелях — пожарники с топорами подписали протокол. Ящик заколотили. А изюм благополучно отбыл со

мной в эвакуацию.

Пробирки с мухами находились в деревянном ящике, привязанном полотенцами к моей груди под шубой (а то мухи замерзнут!). Я шла в толпе по вокзалу в поисках комендатуры, текла в потоке толп, переполнявших вокзал. Именно ту дверь, в которую вместе со множеством других я хотела войти, милиционер закрыл перед моим носом. Нет, чуть было не закрыл. Отгоняя людей, он толкнул меня кулаком в грудь, и его кулак наткнулся на ящик с мухами. Меня арестовали и отвели в комендатуру. Я показывала военным и милиционерам мух и, развлекая их, рассказывала, как похожи законы наследования у дрозофил и у человека. "Вот мухи с белыми глазами. Белоглазие — болезнь. Нормальные мухи красноглазые. Наследуется белоглазие в точности так же, как гемофилия — несвертываемость крови у человека. Царевич Алексей, сын Николая Второго, унаследовал гемофилию от своей матери. У нее задаток кровоточивости был подавлен, а у него выявился. Половина сыновей царицы, будь у нее их много, болела бы гемофилией. И ни одна из дочерей. И все в точности, как у мух, когда белоглазые скрещиваются с красноглазыми".

Мои слушатели разыскали адрес Сима и предложили оставить мух в комендатуре вокзала. Может, в квартире брата холодно. Кстати, в распределителе для военных есть валенки — пусть брат купит.

Мухи остались в комендатуре. Сим купил мне валенки.

От вшей, которыми наградил меня безутешный Евгений Онегин я в Свердловске избавилась.

(Окончание в следующем номере.)

"ВРЕМЯ И МЫ" - 1982

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЧИТАЙТЕ:

Игорь Ефимов "Архивы страшного суда" (продолжение);

Раиса Берг "Палачи и рыцари советской науки" (заключительная часть воспоминаний);

Фридрих Горенштейн "Шестой конец красной звезды" (литературно-социологический анализ Протоколов Сионских мудрецов);

Соломон Цирюльников "Израиль и постсионизм";

Александр Орлов "Тайная история сталинских преступлений" (главы из книги);

"Ближний Восток и проблема палестинцев" (по материалам израильской печати);

Борис Шрагин "Авторитарные личности" (экстремизм мышления новых эмигрантов);

Юрий Карабчиевский "И вохровцы и зэки" (Галич, каким он был);

Б.Шоссет "Эта прекрасная пресная жизнь" (Письма из американской глубинки);

Илья Левков "Третья эмиграция в зеркале социологии" (результаты опроса эмигрантов из 52-х городов США);

прозу Анатолия Гладилина, Фридриха Горенштейна, Виктора Некрасова;

публицистику Доры Штурман, Ефима Эткина, Г.Нилова, цикл статей "Израиль. Год 1982" и др.

Леонид ИЦЕЛЕВ

ЧЕТЫРЕ КРУЖКИ МЮНХЕНСКОГО ПИВА

Одноактная пьеса

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Владимир Ильич Ленин (он же герр Майер), публицист 44-х лет

Мюнхенский художник, молодой человек 25-ти лет

Инесса Арманд, спутница Ленина 39-ти лет

Действие происходит в Мюнхене, в пивном зале "Хофбройхаус" 21 апреля 1914.

ПЕРВЫЕ ДВЕ КРУЖКИ

На сцене появляются плотный коренастый мужчина, в котором зритель без труда узнает Владимира Ильича Ленина, и миловидная женщина — Инесса Арманд. Она одета довольно

экстравагантно — длинный широкий черного цвета плащ с красной подкладкой и черного же цвета широкополая шляпа с белыми перьями.

Ленин помогает своей спутнице снять плащ и вешает его на стоящую в углу вешалку. Туда же он вешает ее шляпу. Они садятся за стол.

Л е н и н . Вот здесь мы и отметим мой завтрашний день рождения.

И н е с с а . Почему ты выбрал этот огромный неудобный зал?

Л е н и н . С этой пивной у меня связаны приятные воспоминания. В девятьсот первом году мы как-то провели здесь редакционное совещание "Искры", на котором я с присутщим мне полемическим задором вдребезги разбил оппортунистическую платформу Плеханова.

И н е с с а . У тебя бывают приятные воспоминания, не связанные с партийной борьбой?

Л е н и н . Только те, что связаны с тобой.

И н е с с а . Ты ими дорожишь?

Л е н и н . Я дорожу каждым мгновением, проведенным с тобой... Ты думаешь легко было убедить ЦК и Надю, что мне необходима поездка в Мюнхен для изучения положения рабочего класса в Баварии? Не мог же я им сказать, что в Мюнхене я лишь должен встретиться с тобой и отсюда вдвоем отправиться на Капри, чтобы неделю наслаждаться средиземноморской весной и друг другом...

Подходит официант.

О ф и ц и а н т . Что желаете, господа?

Л е н и н (Инессе). Что тебе взять, дорогая?

И н е с с а . Виноградного вина, если можно.

Л е н и н (официанту). стакан виноградного вина и пол-литра пива.

На сцене появляется худой бедно одетый молодой человек с большой папкой под мышкой. Он достает из папки несколько листов и медленно обходит столы. Пройдя таким образом

всю сцену, он подходит к столу, за которым сидят Ленин и Арманд.

Художник (обращаясь к Ленину). Сударь, не желаете купить несколько акварелей с видами Мюнхена?

Ленин (не глядя на акварели). Нет, благодарю вас. Не желаем.

Инесса. Сколько вы за них хотите?

Художник. Марку за штуку.

Инесса (Ленину). Это же совсем дешево. Давай возьмем, Володя, на три марки. Акварели выполнены вполне профессионально.

Ленин. Ты же знаешь, дорогая, состояние нашей партийной кассы!..

Инесса. Эти три марки тебя не спасут. Посмотри, какой он бледный. Он, наверное, несколько дней не ел. Возьми ему хотя бы что-нибудь поесть.

Ленин. Ах, Инесса! Если мы будем тратить партийные деньги на то, чтобы кормить люмпен-пролетариев, мы никогда не сможем осуществить подлинно пролетарскую революцию... Ну хорошо. Ради тебя. *(Художнику.)* Молодой человек, не хотите полпорции сосисок, чтобы отметить мой день рождения?

Художник (опустив глаза, молчит. Начинает быстро складывать листы в папку, как бы выражая этим свое желание уйти. Затем после паузы). Спасибо, сударь. Я не откажусь... У меня вчера был день рождения, но я не мог его отметить.

Ленин (без энтузиазма). О! В таком случае, кельнер! Целую порцию сосисок и четверть литра пива.

Официант приносит сосиски и пиво. Художник жадно набрасывается на еду. Ленин и Инесса стараются не смотреть на своего соседа. Наступает напряженная тишина.

Инесса. Вы живете в Мюнхене?

Художник. Да, на Шляйсхаймерштрассе, 34.

Ленин. Любопытное совпадение. Я тоже когда-то жил

на этой улице, только в доме 106. А где вы жили до этого?

Художник. В Вене.

Инесса, Ваши родители...

Художник. Я сирота, сударыня.

Инесса. У вас здесь родственники, друзья?

Художник (обращаясь к публике). Нищета и безродство — мои единственные родственники, голод — мой единственный друг, никогда не покидающий меня, все честно делящий со мной. Я веду постоянную борьбу с безжалостным другом.

Инесса. Бедный мальчик,.. Но вы где-то служите? Как же вы существуете?

Художник. Я зарабатываю на жизнь трудом художника, не отказываясь и от физического труда.

Ленин. В таком случае, вы, вероятно, сможете мне помочь. Мне нужно срочно собрать данные о положении рабочего класса в Баварии, но из-за занятости я не смогу посещать мюнхенские библиотеки.

Художник. Да, я хорошо знаю жизнь рабочих, поскольку изучаю ее не теоретически, а экспериментально. Я разделяю их страдания, их пищу и их жилище... А почему вас, сударь, интересует этот вопрос?

Ленин. Чисто профессионально. Я адвокат. Разрешите представиться, адвокат Майер из Кракова.

Художник (перестает есть. Напряженно вглядывается в лицо собеседника. Медленно произносит). Ваша фамилия Мейер пишется через "вай" или через "ай"?

Ленин (недоуменно). Через "вай". Разве это так важно?

Художник (отодвигая тарелку с едой). Для меня важно. Через "вай" пишется еврейская фамилия Мейер.

Ленин. Я не еврей.

Художник опять придвигает к себе тарелку, но чувствуется, что только голод заставляет его находиться в такой компании.

Ленин (Инессе). Вот видишь, из-за твоей жалостливости мы вынуждены сидеть за одним столом с черносотенцем.

И н е с с а (*оправдываясь*). У него был такой несчастный вид...

Х у д о ж н и к (*доев сосиски, залпом выпивает свою порцию пива. Обращается к Ленину*). Мне с первого взгляда показались подозрительными мочки ваших ушей, сударь. Может быть, вы сами и не еврей, но ваш дедушка со стороны матери наверняка был евреем...

Л е н и н . Милостивый государь! Да как вы смеете! По какому праву... Я... я... я дворянин! (*Встает.*) Инесса! Уйдем отсюда. С какой стати я должен выслушивать оскорбления этого немецкого Пуришкевича! (*Опять садится.*) Допивай скорее вино и уходим.

И н е с с а . Мне показалось, что он незаурядная личность. (*В сторону.*) У него такие выразительные глаза.

Л е н и н . Типичный деклассированный элемент. Из опыта нашей революции мы хорошо знаем, как охотно из такого отребья охранка вербует филеров и провокаторов. (*Художнику, с меньшим пылом.*) Мне тоже подозрительны цели вашего проникновения в среду рабочего класса. Судя по всем признакам, происхождение у вас не пролетарское. Но я же не спрашиваю у вас, кто был ваш дедушка по отцовской линии...

Х у д о ж н и к . Ложь!!! Мой дедушка — католик. У меня есть документы. Моя бабушка была честная женщина! Не было никакого еврея-помещика! Эти гнусные выдумки распространяют обо мне грязные попрошайки, снующие по ресторанам и кафе со своими непристойными рисунками.

И н е с с а (*касается плеча Художника, отчего тот вздрагивает*). Успокойтесь, молодой человек. Нас не интересует прошлое вашей семьи. Просто господин адвокат в ответ на ваш бестактный выпад использовал обычный полемический прием. Поверьте, нас совершенно не интересует...

Художник плачет.

Л е н и н . Этого нам еще не хватало. Теперь придется приводить его в чувство!.. (*Художнику.*) Ну, полно, полно. Возь-

мите себя в руки. Будьте мужчиной. (*В сторону.*) Дерьмо! Я тебя, подонка, еще успокаивать должен. (*Художнику.*) Забудем об этом неприятном разговоре. Сменим тему... Э-э-э. Так вы, значит, долгое время жили в Вене? Замечательный город. Крупнейший центр европейского социал-демо... э-э, я хотел сказать центр европейской музыкальной культуры. Как говорится, столица вальса! Знаменитая венская опера! Инесса, мы, кажется, с тобой слушали там "Лоэнгрин"? Нет, должно быть, с Надей... Помню, мне понравилось, богатая постановка...

Х у д о ж н и к (*мгновенно успокоившись, с удивлением и недоверчивостью смотря на Ленина*). В-вы любите Вагнера?

Л е н и н , Да, я люблю Вагнера, хотя Бетховен мне ближе.

Художник на наших глаза преобразается, лицо его светлеет, а на своего собеседника он смотрит уже без неприязни.

Л е н и н (*обращаясь к зрителям*). Ничего не знаю лучше "Аппассионаты". Изумительная, нечеловеческая музыка! Готов слушать ее каждый день. А делать этого мне нельзя. После такой музыки становишься сентиментальным, хочется милые глупости говорить и гладить людей по головке. А ведь сегодня надобно людей бить по головам, и бить безжалостно! (*Задумчиво напевает музыкальную фразу из "Лунной сонаты"*.) Ля-ля-ля ля-ля-ля...

Художник садится за пианино, играет "Лунную сонату". Ленин, облокотившись о пианино, продолжает напевать. Художник играет "с чувством" — извивается, закатывает глаза.

Инесса хохочет, нарушая тем самым интимность этой сцены.

Художник перестает играть. Он и Ленин смущенно отворачиваются друг от друга.

Л е н и н . Да, музыка сблизает людей. Даже самых непохожих.

Х у д о ж н и к . Искусство возвышает человека над мелкими заботами сегодняшнего дня, оно будит в нем прекрасные, благородные чувства.

И н е с с а . Мне нравится, что ваши картины выполнены в реалистической манере. В них нет этих вывертов и искажений, присущих современному буржуазному искусству.

Х у д о ж н и к . Все эти выверты и искажения свидетельствуют о расовой неполноценности художника. Причем отвратительнее всего то, что такой художник не только сам плодит грязь, но и оскверняет все великое, что было создано в прошлом. Чем более отвратительны и мерзки такие произведения, тем больше их создатели ненавидят свидетельства былого величия человеческой культуры. Подлинное новаторство всегда является продолжением лучших достижений прошлых поколений, оно не боится потерять в сравнении с прошлым, поскольку само вносит вклад в общую сокровищницу человеческой культуры.

Л е н и н . Пролетариату необходимо разрушить одряхлевший капиталистический строй, его базис и надстройку, но отнюдь не памятники человеческой культуры. Все лучшее, что было создано человечеством в минувшие века, мы возьмем себе, а то, что чуждо пролетариату, мы продадим за твердую валюту мировой буржуазии, ведь после победы мировой революции эти ценности опять достанутся нам. *(Смеется заразительным ленинским смехом.)* Ха-ха-ха!

Х у д о ж н и к . Если любая новая идея, новое мировоззрение или политическое движение пытаются отрицать прошлое или высмеивать его, к таким явлениям надо проявлять осторожность и бдительность.

Л е н и н . Нельзя говорить о культуре как о внеклассовом понятии. Человек не может жить вне общества. Художник не может создавать внепартийные произведения. Чем одареннее художник, тем преданнее он делу партии, тем более активно он работает в одной из местных партийных организаций. Для творческого вдохновения и определения рамок партийности художнику служат программа и устав партии, а также резолюции съездов.

Х у д о ж н и к . Искусство — слишком тонкая вещь, чтобы им можно было управлять с помощью директив и резолюций.

Нет большего абсурда, чем "отмена" художественного произведения специальным циркуляром. Искусство можно превзойти только более высоким произведением искусства: музыку — лучшей музыкой, поэзию — лучшей поэзией и так далее.

Л е н и н . Но кто же, кроме партии и ее органов, может определить ценность художественного произведения?

Х у д о ж н и к . Только сам народ! Величайшие произведения искусства были созданы не "ради искусства" и не для кучки эксплуататоров, а для народа.

Л е н и н . Кризис современного буржуазного искусства — это проявление общего кризиса капитализма, нынешнюю стадию которого я охарактеризовал как умирающий, загнивающий и разлагающийся капитализм.

Х у д о ж н и к . Самое страшное, что загнивает не только капитализм как экономическая формация, гниют люди — в самом буквальном смысле этого слова! Массовая эпидемия сифилиса охватила весь мир, и в особенности Германию. Все-народная борьба с этой еврейской болезнью стала проблемой номер один для всей нашей нации. Сейчас вопрос стоит так либо Германия победит сифилис, либо сифилис победит Германию. Мы и только мы, здоровая часть сифилизированной тела нации, должны взять дело борьбы с этой еврейской болезнью на себя. В священной войне против сифилиса у нас нет союзников: аристократия уже давно прогнила, и физически и морально перемешавшись с еврейскими торгашами, среди буржуазии стали появляться те же тенденции. Что же касается отношения властей к сифилису, его нельзя назвать иными словами, как полная капитуляция. Как еще можно назвать так называемый медицинский контроль проституток, который заключается лишь в беглом осмотре ее половых органов...

И н е с с а . Какая мерзость!

Х у д о ж н и кпосле которого она в случае обнаружения болезни лишь на какое-то время попадает в больницу, а затем, вылечившись, вновь продолжает заниматься своим бесчестным ремеслом.

Л е н и н . Какие еще меры можно ожидать от лицемерных капиталистов, выбрасывающих за ворота предприятий миллионы безработных и толкающих их жен и дочерей на панель, где те же самые порочные буржуа подвергают этих несчастных не только унижительным половым извращениям, но и жесточайшей эксплуатации.

Х у д о ж н и к . Безудержная жажда наживы привела к иудизации нашей духовной жизни и мамонизации нашего полового влечения, что неминуемо повлечет за собой полное вырождение будущих поколений, поскольку только здоровое естественное чувство способствует рождению здоровых детей.

И н е с с а . В классовом обществе здоровые семейные отношения невозможны. Даже мимолетная пролетарская связь всегда поэтичнее и чище буржуазных поцелуев без любви. Только свободная любовь и полная отмена устаревшего института брака могут укрепить мораль этого общества!

Х у д о ж н и к . Не отмена брака, сударыня, а укрепление его. Семья — это основная ячейка национальной жизни. Для сохранения ее необходимо сломать буржуазные предрассудки и сделать возможными ранние браки, поскольку именно в поздних браках скрыт постоянный источник, питающий еврейский бизнес, называемый проституцией. Вторым условием укрепления семьи является принятие закона о защите материнства. Мы не должны забывать и о демографической причине проституции: я имею в виду численное преобладание женского населения над мужским. Однако и эта проблема может быть решена в твердом, дисциплинированном государстве, которое всегда может изыскать возможности, чтобы обеспечить каждую женщину законным мужем... Разумеется, брак сам по себе не может быть конечной целью, но он должен служить достижению более великой цели — размножению и сохранению видов и расы.

Л е н и н (*задумчиво повторяет*). "Размножение и сохранение видов и расы"... Ты знаешь, Инесса, если эту архиреакционную идейку использовать диалектически, она могла бы сослужить службу делу пролетариата. После победы пролетар-

ской революции в связи с немногочисленностью пролетариата в России нам, возможно, придется позаботиться о размножении и сохранении рабочего класса как класса самого передового и вместе с тем правящего. Ты знаешь, дорогая, у этого странного юноши можно почерпнуть массу свежих идей. Он мне все больше начинает нравиться.

И н е с с а . А мне становятся все более отвратительными и его реакционный бред, и его глаза фанатика.

Л е н и н . Конечно, дорогая, он реакционер, по сравнению с которым даже Пуришкевич — либерал, но он революционно мыслящий реакционер. Мне с ним интереснее, чем с каким-нибудь марксистским начетчиком.

Х у д о ж н и к (*продолжает*). Для сохранения расы необходимо воспроизводство здорового потомства, а здоровые дети могут рождаться только у молодых здоровых родителей. Отсюда вытекает следующее условие борьбы с проституцией — физическое воспитание молодежи. Мы еще и еще раз должны повторять древнегерманскую мудрость: "в здоровом теле — здоровый дух"! Разве может быть здоровый дух у интеллигенции, физически почти полностью выродившейся? А слабость духа, как известно, соседствует с трусостью. Кроме того, мы не должны забывать, что объект эротических грез здорового юноши будет отличаться от болезненных сексуальных фантазий развращенного хлюпика-интеллигента. Поэтому нет ничего удивительного в том, что физически здоровый юноша всегда выбирает себе в жены здоровую девушку, а развращенный интеллигент делит супружеское ложе с бывшей уличной шлюхой.

И н е с с а . Господи, какой бред! (*Художнику.*) Интересно, с кем вы собираетесь делить супружеское ложе?

Х у д о ж н и к . Я не имею морального права заводить семью.

И н е с с а . Я это уже поняла. (*В сторону.*) А я-то сперва подумала, что в нем что-то есть.

Х у д о ж н и к ...ибо судьба возложила на меня тяжкую миссию спасения германского народа от ига поработителей. Замкнувшись в узком семейном кругу, я не смог бы отда-

вать всего себя нации. С другой стороны, я считаю, что великие люди не вправе обзаводиться потомством: дети гениев всегда несчастны. Мир ждет от них повторения гениальности родителей, а они чаще всего самые заурядные личности. Это превращает их жизнь в трагедию... А к чему я об этом заговорил? Да, в связи со здоровым телом. Развитие здорового тела приведет к отмиранию буржуазной моды, ибо здоровое тело не нуждается в декадентских украшениях, оно прекрасно само по себе. Если бы сегодня естественная физическая красота не была отодвинута на второй план буржуазной модой, соблазнение сотен тысяч наших белокурых девчат отвратительными кривоногими еврейскими ублюдками было бы невозможно. Интересы нации требуют, чтобы красивые тела находили друг друга и, слившись воедино, рождали новую красоту.

И н е с с а. Боже, какая пошлость! Я больше не могу это слушать! *(Встает, собирается уходить.)*

Л е н и н. Инесса, куда ты?! Подожди, я пойду с тобой.

И н е с с а. Не надо. Я скоро вернусь. Через несколько часов у нас поезд, мне надо сделать необходимые покупки в дорогу. А пока наслаждайся своим новым увлечением без меня.

Л е н и н. Ну как ты, право...

Инесса подходит к вешалке, начинает торопливо надевать шляпу, но от волнения никак не может укрепить ее на своей пышной прическе.

Х у д о ж н и к (не обращая на них внимания, продолжает). Наша повседневная жизнь проходит в непрерывном потоке сексуальных стимулов, обрушивающихся на нас с рекламных афиш, плакатов, витрин и с обложек журналов. Какое разлагающее влияние все это оказывает на наших подростков! Какую воспитательную цель может нести так называемое современное искусство, если своим объектом оно выбрало срамные места: художники обрамляют их в картины, кинематограф демонстрирует их на экране, а скульпторы ставят срамные места на пьедестал!

Так и не надев шляпу, Инесса в сердцах бросает ее на пол и, заткнув уши, выбегает.

Л е н и н. Только мощный всеочищающий революционный вихрь может вырвать с корнем все свинцовые мерзости капитализма и спасти человечество от полного морального и физического вырождения.

Х у д о ж н и к. Нашей целью является не уничтожение классов и человеческих жизней, а строительство светлого счастливого будущего.

Л е н и н. Но чтобы построить светлое будущее, без насилия не обойтись. Насилие — повивальная бабка всякого старого общества, когда это последнее беременно новым. Пусть буржуазные моськи визжат и лают по поводу каждой лишней щепки при рубке большого старого леса, Пролетариат будет беспощадно уничтожать чуждое ему гнилье.

Х у д о ж н и к. Человека надо любить, а не уничтожать. Человек подобен Прометею, осветившему священным огнем знания мрачное царство тьмы. Без человека мир опять погрузится в беспросветный мрак, культура исчезнет, а земля превратится в пустыню.

Л е н и н. И с таким дряблым бессильным мышлением вы собираетесь совершить величайшую в истории революцию?.. Нет, наша революция будет отличаться от всех предыдущих тем, что насилие, которое последовательно будет осуществляться рабочим классом, примет наиболее совершенную форму. Разумеется, насилие отнюдь не является конечной нашей целью. Более того, мы стремимся к полному отмиранию государства как средства насилия одного класса над другим. Но чтобы процесс отмирания государства проходил как можно скорее, необходимо во время переходного периода от капитализма к социализму максимальное усиление государства. В этом мы видим сущность революционной диалектики — деbüroкратизация общества через тотальное усиление бюрократического аппарата, роспуск армии через создание самых мощных в мире вооруженных сил, отмена полиции

через превращение страны и архиполицейское государство. В возникшем таким образом сверхгосударстве необходимость в государственном аппарате отпадает сама собой. Каждая кухарка одновременно будет и чиновником, и солдатом, и жандармом, и заключенным. И все это можно будет осуществить только насилием. Мы никогда не откажемся от этого революционного целебного средства, невзирая на стоны слабонервных интеллигентов, падающих в обморок от вида крови.

Х у д о ж н и к . Кровопролития можно избежать, если в борьбе с мировым капиталом использовать новейшие достижения науки и техники, в частности химии. Вы правы, если враг не сдается, его уничтожают, но наше революционное насилие будет отличаться от кровавого насилия и бессмысленных жертв французской революции. Океанам крови буржуазных революций мы противопоставляем гигиенические газовые камеры национально-социалистической революции.

Л е н и н . Какая великолепная идея! Использовать новейшие достижения науки и техники для борьбы с классовым врагом! Вот где истинная широта революционной мысли. Именно этого нам так не хватает. Даже мне такое не приходило в голову. У меня была лишь мысль использовать опыт англичан во время англо-бурской войны по созданию концентрационных лагерей, но использовать химию, умертвляющий газ... Да это просто архигениально! А главное соответствует революционной пролетарской гуманности... Молодой человек, я считаю, что вам необходимо работать для нашей организации. Напишите подробный доклад на эту тему. Примерное название я могу вам подсказать: "К вопросу об использовании новейших достижений химической промышленности в борьбе с мировым капиталом". Постарайтесь по возможности убедительнее изложить ваши соображения. После теоретического вступления и исторического обзора неплохо бы представить чисто техническую главу — со схемами, формулами и подсчетом экономической эффективности. Да собственно вас, немцев, этому учить не надо. Боюсь только что, если эту прекрасную идею возьмут на вооружение наши

российские головотяпы, от идеи останется один пшик... То газа будет не хватать, то оператор будет пьян, то человеческий материал к ликвидации не подготовлен. А сколько золота и украшений может пропасть из-за халатности и разгильдяйства революционной гвардии. Ну да Бог с ними. Все равно нам необходимо использовать эту идею, пока ее не взял на вооружение классовый враг. Так вот, подготовьте этот доклад, а затем я его представлю на рассмотрение нашему ЦК. Безусловно, найдутся противники этой идеи среди мягкотелых и меньшевистствующих партийцев. Ну а в случае нашей с вами победы над либералами в партии, я вас кооптирую в состав ЦК. Нам позарез нужны люди, способные мыслить широко, убежденные революционеры, лишенные ложных, буржуазных представлений о морали. Такие люди, как вы, или, как один недавно кооптированный в ЦК инородец, по фамилии Сталин. Нам нужны практики революционного дела, а не революционные краснобаи, которых у нас предостаточно в партии... Итак, я даю вам три месяца на составление доклада. Сюда в Мюнхен я вернусь в конце июля. Тогда мы с вами поговорим более конкретно о вашем участии в партийной работе и о денежном вознаграждении. Хотя мы бедны как церковные крысы, кое-какими средствами для поощрения деятельности профессиональных революционеров мы располагаем... Так, я запишу ваши данные. Адрес я помню: Шляйсхаймерштрассе, 34. А вот вашего имени, товарищ, я, извините, не знаю.

Х у д о ж н и к (*встает, выбрасывает вперед правую руку напоподобие фашистского приветствия*). Адольф Гитлер!

Затемнение.

ВТОРЫЕ ДВЕ КРУЖКИ

Л е н и н . Ну что, товарищ Гитлер, еще выпьем по кружке, а? (*Официанту.*) Кельнер, еще два пива!

Официант приносит пиво. Ленин и Гитлер с наслаждением пьют.

Л е н и н . Да... Завидую я вам, молодым. Моему поколению уже не придется увидеть багряной зари революции.

Г и т л е р . Надо мечтать, герр доктор, надо мечтать! Лично меня никогда не оставляет чувство исторического оптимизма.

Л е н и н (*обводя рукой зал*). Неужели вы верите, что этих сытых и самодовольных бургеров можно увлечь на борьбу с мировым капиталом?

Г и т л е р . Да, я верю, что этих людей можно зажечь благородной целью, что у них могут быть другие идеалы, кроме состязаний по накачиванию пивом. Если у них появится великий вождь, который заразит их своим пламенным страстным желанием спасти человечество от ига капитала, тогда эти благодущные мещане, как по мановению волшебной палочки, превратятся в стойких непреклонных бойцов.

Л е н и н . Ах, черт возьми, как хочется дожить до этого времени и хотя бы краешком глаза увидеть спаленное до тла общество эксплуататоров.

Г и т л е р . Да, мы, революционеры, должны быть мечтателями. Когда я представляю себе победу нашей революции, я вижу светлые голубые города, где живут радостные, счастливые здоровые люди. В этих городах не будет трущоб и серых унылых улиц, не будет бедных рабочих предместий. Главные создатели материальных ценностей — рабочие люди — будут жить в уютных коттеджах в окружении зелени и цветов. Центры старых городов будут реконструированы, не нарушая их исторической ценности, но с учетом потребностей двадцатого века... Кстати, у меня с собой есть мой собственный план перестройки центра Мюнхена. (*Достает из папки несколько листов.*) Вот видите, здесь будут пешеходные зоны, закрытые для транспорта. Здесь — подземные гаражи. Здесь — общественные парки. Всю страну мы покроем сетью современных автомобильных дорог. Лучшим конструкторам мы поручим разработку "народного автомобиля" "фольксваген", — доступного для самых широких слоев населения. Он будет стоять не дороже мотоцикла и потреблять мало горючего. Автомобиль перестанет быть предметом роскоши и одновременно разрушит классовые барьеры.

Л е н и н . "Голубые города", "народный автомобиль"... Вместо того чтобы подумать о том, как надежнее и эффективнее разрушить капиталистическое хозяйство во имя счастья трудящихся, вы занимаетесь какими-то утопическими прожектами... Да вы, батенька мой, просто националист-утопист! (*Смеется заразительным ленинским смехом.*) Ха-ха-ха!

Г и т л е р (*с гордостью*). Я национал-социалист!

Л е н и н . Эти два понятия несовместимы.

Г и т л е р . Национальное и социальное — понятия идентичные, марксизм искусственно их разделяет. Быть "национальным" — значит действовать с безграничной и всеобъемлющей любовью к народу и, если необходимо, умереть за него. Быть "социальным" — значит построить государство и общество, в котором каждый человек действует в интересах общества и верит в правоту этого общества, и готов умереть за него.

Л е н и н . Социализм неотделим от интернационализма. Социалистическая революция не может замкнуться в границах одной страны. Пожар революции неминуемо перекинется на другие страны и охватит целые континенты.

Г и т л е р . Реальный социализм может победить только в одной отдельно взятой стране. Интернационализм чужд подлинному социализму, он является лишь замаскированной формой политического подчинения. Мы же не собираемся навязывать другим странам и народам наше мировоззрение и наш образ жизни. Мы только хотим воспитать в нашем народе чувство национальной гордости.

Л е н и н . По-моему, в немецком народе и так достаточно развито чувство национальной гордости. Кто и где угрожает немецкому национальному чувству?

Г и т л е р . Десять миллионов немцев подвергаются неслыханному угнетению в антигерманской империи Габсбургов... В то время как еврейская капиталистическая пресса поднимает провокационную возню вокруг так называемого угнетения малых наций в Австро-Венгрии, единственной угнетенной нацией империи являются немцы. Все проблемы больших и малых народов, населяющих монархию, решаются за счет

немцев. Немецкий язык засоряется местными наречиями, а истинно немецкие территории сужаются под опасным воздействием трусливой политики многоязычия.

Л е н и н . В национальном вопросе мы стоим за предоставление каждой, даже самой малой нации права на самоопределение, вплоть до полного отделения. Но требовать отделения могут только буржуазные националисты, с которыми мы будем вести беспощадную борьбу.

Г и т л е р . Буржуазный национализм — это коварный враг народа: он рядится в одежды союзника национал-социализма, а на деле всегда готов пойти на предательство национальных интересов ради интересов мирового капитала.

Л е н и н . Всякий националист — враг своего народа, поскольку шовинистический туман мешает ему увидеть классовую борьбу внутри своей нации. По-вашему, немецкие рабочие в отдаленных частях империи должны бороться только за то, чтобы их эксплуатировали родные немецкие капиталисты?

Г и т л е р . Немец должен бороться за то, чтобы всегда оставаться немцем, ибо быть немцем, значит быть чистым.

Л е н и н . Выходит, чистыми могут быть только немцы?

Г и т л е р . Нас прежде всего интересует собственная чистота. Но нам всегда было чуждо чувство национальной обособленности и высокомерия. Истинный националист всегда с уважением относится к культуре других наций, ибо в любви к своему народу выражается его любовь ко всему человечеству.

Л е н и н . Как же вы сочетаете любовь ко всему человечеству со средневековым юдофобством?

Г и т л е р . Мои взгляды на еврейский вопрос строго научны. Мне всегда был чужд вульгарный антисемитизм, питаемый низменными инстинктами толпы, или наивное поповское юдофобство, основанное на религиозных предрассудках. Такой псевдоантисемитизм хуже, чем отсутствие всякого антисемитизма. В годы моей жизни в Вене меня всегда возмущал низкий уровень и непристойный язык австрийских антисемитских изданий, позорящих глубокие культурные традиции германской нации. Этим позорным явлениям я хочу

противопоставить национально-социалистический антисемитизм, разработанный на строго научных расовых принципах. Сущность научного антисемитизма заключается в том, что он рассматривает еврейство не как религиозную общность или нацию, а как расу, враждебную по своей сущности арийской расе и стремящуюся к захвату всего мира. Своими главными врагами они считают Германию и Россию, поскольку народы этих стран оказывают самое стойкое сопротивление кровавым еврейским тиранам. Еврейский механизм разрушения коварен и прост. Через свою агентуру в социал-демократии и профсоюзах они натравливают рабочих на буржуазию, а благодаря манипуляциям так называемой либеральной, а фактически еврейской прессы, они настраивают буржуазию против рабочих. При этом ни рабочие, ни буржуазия не подозревают, что их взаимная борьба является результатом дьявольского заговора инородцев. Сегодня этим кровопийцам уже мало того, что они хозяйничают в экономике отдельных стран мира, сейчас они пытаются разжечь пожар мировой войны, чтобы окончательно уничтожить мировую цивилизацию.

Л е н и н . Наш долг — долг революционеров — направлять пожар мировой войны против тех, кто ее разжигает — международных финансовых воротил. Мы должны превратить империалистическую бойню в священную гражданскую войну. Пролетариату чужд мелкобуржуазный пацифизм. Войны революционные, национально-освободительные, гражданские мы будем всемерно поддерживать и по возможности разжигать. До полной победы мировой революции понятия "мир" вообще не будет существовать. Будет лишь мирная передышка для накопления сил перед очередной битвой с капиталом. Для нас мир — это продолжение войны идеологическими средствами.

Г и т л е р . А для нас мир — это единственная конечная цель. Мир нам необходим для того, чтобы успешно строить новую счастливую жизнь, чтобы сеять хлеб, смеяться и любить. Мы мечтаем сделать жизнь наших детей еще счастливее, а нашу родину еще сильнее и краше. Без длительного на-

дежного мира мы не сможем осуществить нашу мечту. Мы никому не собираемся делать зла, но если международные банки осмелятся помешать нашему мирному строительству, мы не будем сидеть сложа руки. Всемогущий Создатель возложил на меня священную миссию возглавить борьбу против мирового капитала. Одним из первых борцов против финансовой буржуазии был сын Божий Иисус Христос. Целью его жизни и его учения была борьба против капиталистических эксплуататоров. В этой борьбе он отдал свою жизнь, распятый на кресте своими врагами — евреями. Однако то дело, которое не удалось завершить Христу, я — Адольф Гитлер — доведу до конца!

Л е н и н . Позвольте, батенька, да ведь Христос сам был чистокровным евреем!

Г и т л е р . Только невежды могут это утверждать! По крови он был только наполовину еврей — со стороны матери. А поскольку он был чужд еврейской религии и еврейскому духу, можно считать, что еврейской заразы он был лишен.

Л е н и н . Безусловно, многовековое пребывание евреев в затхлой атмосфере гетто и черте оседлости не могло не наложить на них определенный отпечаток и не выработать некоторых специфических отрицательных черт национального характера. Для того чтобы евреям избавиться от этих черт, лучшее средство — плавильный котел. По образцу американского плавильного котла народов. Полная ассимиляция евреев среди других наций кардинальным образом решит еврейский вопрос.

Г и т л е р . Как раз американский пример доказывает бесполезность использования метода плавильного котла в отношении евреев. Америка переплавляет всех, кроме евреев. Более того, эта великая страна все более теряет свой англосаксонский дух и облик из-за растущего еврейского влияния.

Л е н и н . По-вашему, остается только Палестина?

Г и т л е р . Сионистское государство в Палестине — это еще один миф, с помощью которого евреи одурачивают наивных гоим. У них и мысли нет создавать в пустыне еврейское государство да еще и жить там. Им нужна лишь бе-

зопасная база для международного мошенничества, убежище для уголовников и высшая школа для будущих убийц.

Л е н и н . Вольно или невольно, сионисты в Палестине являются марионетками международного империализма.

Г и т л е р . Они не просто марионетки. Это безжалостные захватчики, подвергающие беззащитное арабское население жесточайшему террору. Они устраивают массовые казни коренного мирного населения, взрывают дома, сжигают деревни... Коварные британские империалисты пытаются и в Европе устроить вторую Палестину: стремясь развалить на куски Австро-Венгерскую империю, они хотят вонзить славянский нож в сердце немецкого народа...

Л е н и н . Не будем сейчас касаться славянских народов. Скажите лучше, как же вы все-таки предполагаете решить еврейский вопрос?

Г и г л е р . Для начала мы попытаемся применить туманные методы и ограничимся трудовым перевоспитанием паразитической еврейской расы в неприхотливых, но удобных лагерях. Если евреи не поймут значения этой меры, предназначенной для их защиты от справедливого народного гнева, если сионистская печать поднимет вокруг этого злобный вой, если сионистский капитал организует международную кампанию ненависти против немецкого народа, — то в таком случае мы будем вынуждены обратиться к более радикальной мере, которая сделает возможным окончательное решение еврейского вопроса: я имею в виду газовые камеры.

Л е н и н . Это жестоко, но в то же время смело и революционно... Вы знаете, если и стоит ликвидировать евреев, то только потому, что их существование не может быть объяснимо с точки зрения диалектического материализма. Мы не можем считать их нацией, поскольку их не связывает общий язык, общая территория и общее рыночное хозяйство. Но если евреи не нация, то откуда же берется их национализм? Тут пахнет какой-то идеалистически чертовщиной.

Г и т л е р . Я же вам говорил, что евреи — это воплощение дьявола на земле, а вы мне не верили.

Л е н и н . Я вообще не верю ни в бога, ни в дьявола.

Г и т л е р. К вере в Бога я отношусь прагматически. До тех пор пока религии не найдется достойной замены, ее необходимо всячески поддерживать и сохранять. К сожалению, на Западе церковь теряет миллионы и миллионы приверженцев. Последствия этого, особенно в отношении морали, могут стать катастрофическими. Огромные массы людей — это не философы, вера для них — единственная основа морального подхода к жизни... Органические законы существуют для государства, догма для религии. Покушение на догму означает борьбу с моральными основами общества. Только безумцы или преступники могут пойти на это.

Л е н и н. Безумцы пойдут на то, чтобы открыто и напролом бороться с церковью. Дальновидный революционер сумеет задушить религию руками самих же попов. И пусть мелкобуржуазные выскочки из псевдореволюционеров считают нас преступниками, но мы не потерпим, чтобы развратные малограмотные попы одурманивали массы своим опиумом.

Г и т л е р. Какую же замену вы сможете найти религиозному опиуму?

Л е н и н. Это чисто моральная проблема, и партия не вправе давать массам указания о создании тех или иных моральных ценностей. Мировой пролетариат и его авангард — российский рабочий класс — сам сумеет найти достойную замену опиуму!

Г и т л е р. Не религия одурманивает массы, а слепая навивная вера в парламентаризм как панацею от всех социальных болезней.

Л е н и н. Парламентаризм — не лекарство, а неизлечимая болезнь, которую один ваш великий соотечественник назвал парламентским кретинизмом.

Г и т л е р (*залезает на стол. Сейчас перед нами Гитлер — "великий оратор"*). Периоды так называемой демократии и парламентаризма были одновременно периодами упадка мощи и духа народов. Большинство никогда не заменит человека, сто дураков вместе не дадут одного умного, героическое решение не возникнет у сотни трусов.

Л е н и н (*тоже взбирается на стол. Мы видим сошедший с*

плакатов образ Ленина — "народного трибуна"). Парламентское большинство — это шитый белыми нитками тришкин кафтан партийных блоков и группировок.

Г и т л е р. Германскому народу чужда скопированная с Запада форма парламентской демократии.

Л е н и н. Буржуазная свобода — это свобода денежного мешка.

Г и т л е р. Так называемая свобода слова — это свобода лжи и грязных инсинуаций.

Л е н и н. Так называемые избранники народа — это наймиты финансового капитала. Они выстраиваются в длинную очередь в ожидании правительственных постов.

Г и т л е р. С возделением ждут они малейших изменений в облюбованном ведомстве и благодарят судьбу за любой скандал, который уменьшает очередь ожидающих.

Л е н и н. Заняв правительственный пост, парламентский деятель унижается до такой степени, что фактически становится политическим спекулянтом.

Г и т л е р. Поэтому любой спекулянт всегда готов заняться политикой.

Л е н и н. А мерзкие лакеи империализма вроде социалсоглашателей Шейдемана, Эрцбергера и Эберта охотно продают интересы рабочих ради депутатского жалованья.

Г и т л е р. Падать на колени перед тощим Шейдеманом, жирным герром Эрцбергером, Фридрихом Эбертом — перед этими политическими пигмеями, этими ничтожествами! Самый справедливый государственный строй не тот, где предпочтение отдается арифметическому большинству, а тот, который может выдвинуть из народа в качестве руководителей сильных людей, — личность, способную принимать ответственные решения, отвечающие интересам народа и выражающие коллективную волю народа. Вот что такое истинное народовластие!

Л е н и н. Народовластие — это безусловное и строжайшее подчинение воли народа воле руководителя.

Г и т л е р. Это подчинение при определенной сознательности и дисциплинированности масс может напоминать добро-

вольное и охотное подчинение оркестра дирижеру. Если же нет идеальной дисциплинированности и сознательности, руководство может принимать резкие формы диктаторства.

Л е н и н . Самая демократическая форма правления — это самодержавие. Но не самодержавие помещиков и капиталистов, а рабочих и крестьян, то есть диктатура рабочего класса и беднейшего крестьянства.

Г и т л е р *(слезая со стола)*. Мне тоже близка монархическая идея, но мне отвратительна форма, в какую эта идея зачастую облечена. *(Подходит к вешалке, снимает плащ Инессы и надевает его на себя, поднимает валяющуюся на полу шляпу. Театрально закинув полу плаща через плечо, он выходит на просцениум. В этом человеке сейчас трудно узнать не только будущего нацистского фюрера, но и нищего мюнхенского художника. Перед нами роялист-наудачник эпохи просвещенного абсолютизма.)* И прежде всего форма обращения к монарху: ему нельзя противоречить, но необходимо соглашаться со всем, что его величество изволит высказать. Королевские дворы великих монархий более всего нуждаются в элементарном чувстве человеческого достоинства. Если это благородное чувство не одолеет раболепие, — ибо раболепие, а не что иное царит ныне при дворе — институт монархии ожидает неминуемая гибель. *(Пауза. Гитлер ждет аплодисментов. Продолжает как бы на бис)*. Истинный монархист — не тот, кто молчаливо позволяет венценосцу грешить против самого себя, но тот, кто, жертвуя собой, предотвращает это. *(Церемненно кланяется публике. Снимает с себя плащ и шляпу, вешает их на вешалку.)*

Л е н и н *(слезая со стола)*. Итак, представим себе, что вы пришли к власти. С какой программой вы предполагаете обратиться к массам?

Г и т л е р . Эту программу я уже разработал. Вот некоторые ее пункты.

Все граждане страны имеют равные права и обязанности, независимо от их происхождения, пола и вероисповедания (кроме иудейского, разумеется).

Христианство — основа народной морали.

Священный долг каждого гражданина работать на благо народа.

Национализация трестов.

Увеличение пенсии и охрана материнства.

Универсальные магазины, эти оплоты крупной еврейской буржуазии, должны быть разделены на мелкие лавки с частными хозяевами.

Отмена частного землевладения.

Высшее образование должно быть доступно для детей бедных родителей.

Долг государства — защищать здоровье народа.

Введение государственного контроля над печатью, искусством и культурой.

Л е н и н . Архилюбопытнейшая программа! Кое-какие пункты принимаю целиком, кое с чем хотелось бы поспорить. Но не сейчас. Я уверен, мы с вами еще встретимся и, возможно, даже поработаем вместе.

Занавес.

Пьеса написана на основе высказываний Ленина и Гитлера, вошедших в их сочинения (Примеч. автора)

ЗА КУЛИСАМИ МЕРАНО

Предлагая вниманию читателей этот несколько необычный для журнала "Вернисаж", я отнюдь не намерен возвращаться к анализу вот уже тридцатого по счету шахматного поединка на звание чемпиона мира. О чемпионате в Мерано, который принес шахматную корону советскому гроссмейстеру Анатолию Карпову, написано, вероятно, тысячи репортажей, очерков, спортивных комментариев, и мне как шахматисту нечего добавить. Да, счет 6:2, Карпов одержал шесть побед, имел десять ничьих и понес лишь два поражения.

Но если обратиться к анализу и оценкам западных комментаторов, которые и сегодня продолжают писать о сражении в Мерано, то их взоры и по сей день остаются прикованными к восемнадцати шахматным партиям, состоявшимся в зале Сальвар и принесшим столь внушительную, с их точки зрения, победу советской шахматной школе. Впрочем, ничего удивительного, чемпионат есть чемпионат.

Читаешь иные из этих комментариев, и предстают перед глазами два человека-компьютера, выполнявших определенные заложенные в них задолго до поединка в Мерано шахматные программы. И будто бы не было жесточайшего борения страстей и не было будто давления на безоружного в сущности Корчного сверхмощной тоталитарной державы, и не держала будто эта держава в качестве заложников жену и сына великого шахматиста. Я бы мог снова и снова возвращаться к событиям, происходившим с 1 октября по 18 ноября прошлого года... нет, не в Мерано, а за его кулисами, ибо каким бы парадоксом это не звучало, но меня, человека, может быть, самого близкого к Корчному в эти дни, не покидает ощущение, что свою победу Карпов одержал не столько за шахматной доской, сколько за кулисами

Мерано, где развернулась баталия, не имеющая никакого отношения к извечно прекрасному шахматному искусству.

Советский режим не жалеет средств, чтобы вырастить первоклассных мастеров шахмат, чтобы на весь мир блистали звезды советского балета, чтобы не знали себе равных советские футбол и хоккей, — но ни шахматы, волнующие умы, ни балет и музыка, волнующие сердца, а идеология, победа "родной коммунистической идеологии", — вот ради чего не жалеют ни сил, ни средств власти в СССР. И в этом смысле в Мерано столкнулись по существу два мира. И как мы понимаем, тоталитарный мир был не очень-то разборчив в средствах. Мне невольно вспоминается открытое письмо к Корчному группы выдающихся писателей и деятелей культуры нашей эмиграции: "Вам, — писали они, — приходится не просто участвовать в спортивном состязании, как делают это шахматисты свободного мира. Вам приходится оспаривать титул не просто у одного из коллег, — но оспаривать и стараться вырвать победу у колоссальной машины тоталитарного государства, которое и свой спортивный приоритет использует в политических целях.

Неравный поединок кончился так, как кончаются все поединки подобного рода. Советские газеты, не скрывая торжества, и по сей день чувствуют "верного сына Родины" Анатолия Карпова, с честью выполнившего задание "родной партии и правительства". И нет-нет да и проклянут "предателя" и невозвращенца Корчного. Как писал поэт: "На площадях танцуют, и казнят тех, кто со всеми заодно не пляшет"... Но кому, как не нам, воздать должное этим, не пляшущим заодно борцам и бунтовщикам, бросившим вызов кровавому режиму.

*Эдуард ШТЕЙН
пресс-атташе Виктора Корчного*



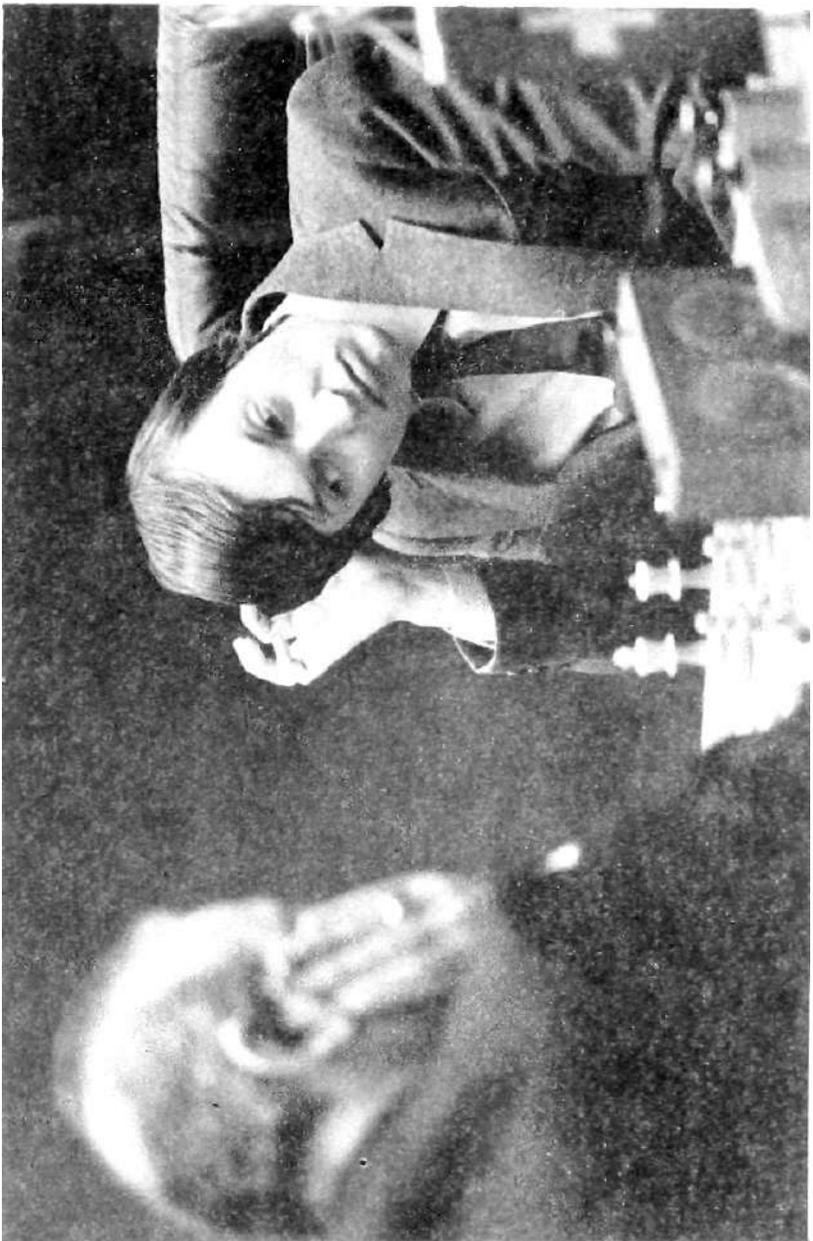
В. Корчной.

Фото С. Симона

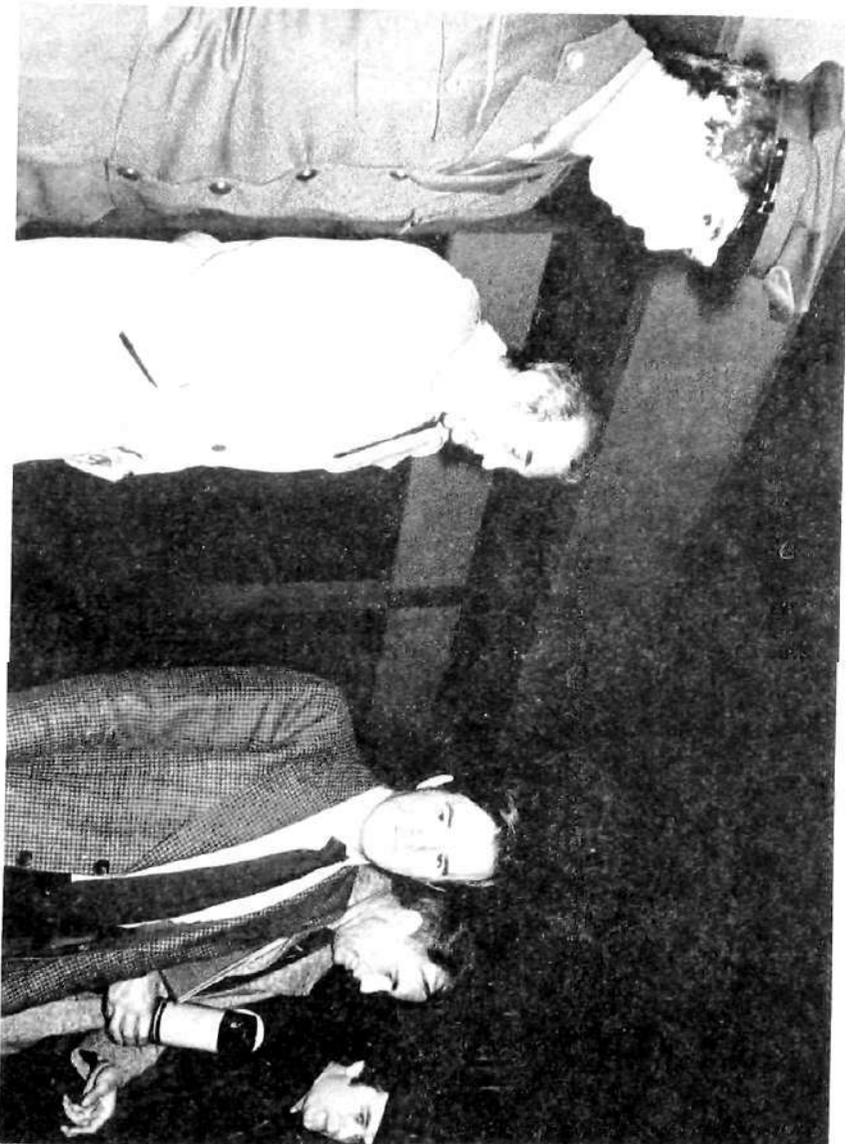
**А. Карпов выходит из зала
Сальвар в Мерано.**

**По бокам автоматчики —
итальянские карабинеры,
сзади чемпиона — его
личный телохранитель
Пищенко**





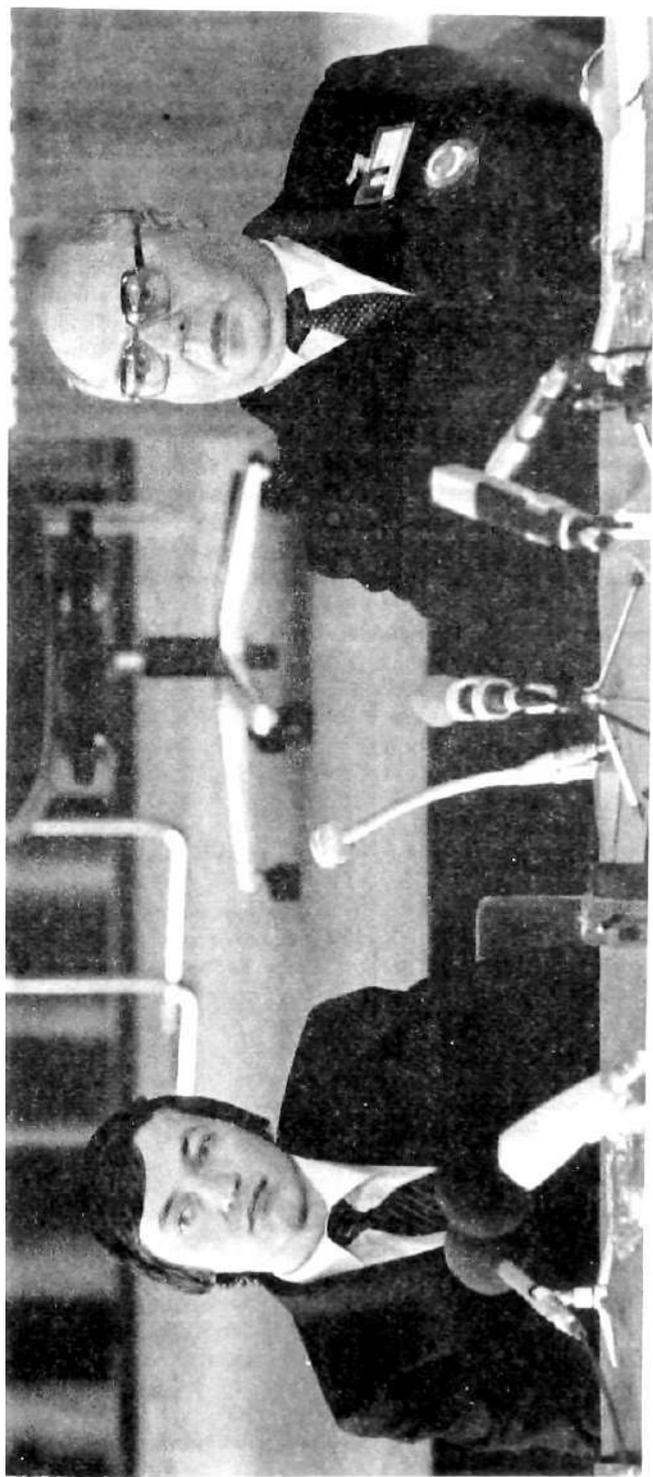
Вторая партия
матча...



В. Корчной покидает зал
Салывар. Второй справа —
пресс-атташе Эдуард Штейн.
Фото К. Батко.



Шепард, она же Диди — паралисихолог В. Коричного. Слева — Лев
Гутман, тренер Коричного.



Пресс-конференция чемпиона мира. Справа — руководитель
советской делегации В. Батурицкий.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Игорь ЕФИМОВ — родился в 1937 г., окончил Ленинградский Политехнический институт в 1960 г., работал инженером, преподавал в вузе. С 1965 по 1978 г. — член Союза писателей. Выпустил около десятка книг. Среди них: "Таврический сад", "Смотрите, кто пришел!", "Лаборантка", "Свергнуть всякое иго". Его политико-философские труды циркулировали только в самиздате, отрывки печатались на Западе под псевдонимом Андрей Московит. Эмигрировал в 1978 г. На Западе опубликовал четыре книги: "Металолитика" (историко-философское исследование, 1978, США), "Без буржуев" (анализ советской экономической машины, 1979, "Посев", ФРГ), "Практическая метафизика" (философская система, развивающая принципы Канта и Шопенгауера, 1980, "Ардис", США), "Как одна плоть" (роман, 1981, "Ардис", США). С 1981 г. руководит основанным им новым русским издательством "Эрмитаж". Живет в Мичигане.

С.Ш. — рукопись пришла по каналам самиздата. Сведениями об авторе редакция не располагает.

Эдуард ШНЕЙДЕРМАН — родился в 1940 г. Окончил филологический факультет Ленинградского университета в 1965 г., написав работу о Саше Черном. Позднее работал в ЛГАЛИ (Государственный архив литературы и искусства.) Пишет стихи более двадцати лет, никогда в России их не публиковал. "Погром", так же как и подборка стихов в 63-м номере "Время и мы", напечатан без ведома и согласия автора.

Юрий ИОФЕ — родился в 1921 г. По профессии математик. Работал в Москве, был преподавателем, научным сотрудником, редактором физико-математической литературы. В мае 1972 г. эмигрировал в Германию. В Советском Союзе почти не публиковался. На Западе опубликовал около сотни стихов и несколько прозаических произведений. Живет во Франкфурте-на-Майне.

Савва (Савелий) ЖУКОБОРСКИЙ — родился в 1932 г. в Ленинграде. По образованию инженер-механик. В 1972 г. завершил диссертационную работу, выполненную в Ленинградском Холодильном институте, в области прикладной физической химии, но не был допущен к защите по причинам ненаучного свойства.

С 1972 по 1976 г. занимался исследованиями в области социологии во ВНИИ Технической эстетики. Разрабатывал вопросы, связанные с динамикой социальных норм. Был членом Советской социологической ассоциации. В 1977 г. эмигрировал в США. Сейчас работает в качестве инженера-проектировщика в исследовательском отделе одного из далласких заводов.

МАРРАН — рукопись пришла по каналам самиздата. Сведениями об авторе редакция не располагает.

Д.БАРТОН ДЖОНСОН — родился в 1933 г. в г.Индианаполис, штат Индиана. Получил степень доктора философских наук в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в 1966 г. В связи с работой в области русской лингвистики стажировался в Московском университете. В 1978 г. читал лекции по американской литературе в Киевском институте иностранных языков. В настоящее время — профессор русского языка, литературы и лингвистики в Калифорнийском университете в Санта Барбара. Специалист по русскому модернизму.

Раиса БЕРГ — Биографические данные Р.Берг приводятся в ее воспоминаниях. См. также № 50 журнала "Время и мы", где была опубликована ее "Повесть о генетике". В настоящее время продолжает заниматься научной работой в Washington University School of Medicine.

Леонид ИЦЕЛЕВ — родился в 1946 г. в Ленинграде. Окончил филологический факультет (английское отделение) Ленинградского педагогического института. Профессиональный переводчик. Эмигрировал в 1978 г. Живет в Вене, выступает в периодической печати.

КРАСОЧНЫЙ ВИТРАЖ ЭРНСТА НЕИЗВЕСТНОГО	ФАРФОРОВАЯ ТАРЕЛКА СТУДИИ NATALIA PUSHKINA
	
Фактурное обожженное стекло, свинцовая оправа, высота 9 инч. Мы получили достаточно заказов, чтобы добиться минимальной себестоимости и снизить цену с \$25.00 до \$19.50.	"Magic Carpet", коллекционная. Каждая имеет номер и сертификат. Декорирована 24 кт золотом. 10 инч. тираж ограничен. В магазине Brentano's, 5 Ave., 48 St. \$100.00. Вы можете купить за \$50.00

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 39 долларов; для библиотек — 44 доллара; с целью экономической поддержки журнала — 50 долларов; стоимость пересылки — 4 доллара. Заказы и чеки высылать по адресу главной редакции: "Time and We" 475 Fifth ave, suite 511a, New York, N.Y. 10017.

Стоимость подписки в Израиле — 600 шкалим; для библиотек — 680 шкалим; с целью экономической поддержки журнала — 720 шкалим; стоимость пересылки — 50 шкалим. Заказы и чеки высылать на адрес израильского отделения журнала "Время и мы" : Иерусалим, Талпиот мизрах, 422/6 (зав.отделением Дора Штурман-Тиктина).

Стоимость подписки во Франции — 200 франц.франков; для библиотек — 220 франков; с целью экономической поддержки журнала — 240 франков; стоимость пересылки — 20 франков. Подписка осуществляется по адресу главной редакции в США, а также во французском отделении журнала "Время и мы".

Стоимость подписки в Германии — 89 нем.марок; для библиотек — 99 марок; с целью экономической поддержки журнала — 110 марок; стоимость пересылки — 10 марок. Подписка осуществляется по адресу главной редакции в США, а также у представителя журнала в Германии.

Во всех других странах подписка осуществляется по адресу главной редакции, а также у представителей редакции.

Стоимость подписки авиапочтой в США — 78 долларов, во Франции — 400 франков, в Германии — 178 немецких марок.

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия

Имя

Адрес

Подписной период

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы" на год. Высылать номера

Журнал высылать обычной авиа/ почтой по адресу

Подпись

Примечание редакции: чек выписывается поанглийски на имя журнала "Время и мы" /Ttme and We/.

Из Германии. Англии. Франции и других стран чеки могут высылаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылается по адресу "Time and We"

**475 FIFTH AVENUE. SUITE 511-A. NEW YORK
NEW YORK 10017. Tel. (212) 684-3014**

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

MAIN OFFICE:

475 Fifth Ave, suite 511a, New York, N.Y. 10017

**Художественная редакция и оформление
Альфреда Тульчинского
(Jacet and design by Alfred Tulchinsky)**

OCR и вычитка - Давид Титиевский, декабрь 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**На четвертой странице обложки: "К свободе!".
Фотография Альфреда Тульчинского**

YORK CONFERENCE
M NOW
T JEWRY

VLADIMIR & MARTA SLEPARI



The Greater New York Conference on SOVIET JEWRY

ANDEROV



SPEAK OUT
FOR THOSE
WHO CAN'T

SEARCH FOR SOVIET JEWRY
CHARITY SUNDAY APR. 29TH
8:00 AM TO NOON, 56TH & 5TH TO 47TH & 3RD

Admission Free - Free Will Contribution - 1953